
Сергей Карпенко
Последний класс

Сергей Карпенко

Последний класс

https://litres.ru/75067699
SelfPub; 2026

Аннотация

В мире, где судьбу человека определяют двенадцать известных классов, семнадцатилетний Варн получает дар, которого не должно существовать.

Тринадцатый класс открывает ему путь к силам древних существ, забытым тайнам и опасным приключениям далеко за пределами родных земель.

Но чем больше Варн узнаёт о своём даре, тем яснее становится: его появление не было случайностью. И цена этого знания может оказаться выше, чем он способен представить.

Сергей Карпенко
Последний класс

Последний класс

Сергей Карпенко

Убей существо — и оно отдаст тебе свою силу. Вместе с памятью. Вместе с инстинктами. Вместе с куском души. Варн собирает эти наследия одно за другим — и с каждым граница между ним и тем, что внутри, становится тоньше.

© Сергей Карпенко

Оглавление:

1 Нотейн
2 Последний спокойный день
3 Древний храм
4 Тринадцатый знак
5 Мечник
6 Домой
7 Пепельный волк
8 Чужое зрение
9 Чужие взгляды
10 Прощание
11 Дорога
12 Приключения
13 Рейдринг

14 Гильдия
15 Первые деньги
16 Паук забвения
17 Чужой меч
18 Основы боя
19 Огненная сколопендр
20 Караван
21 Неожиданный огонь
22 Наблюдатель
23 Письмо
24 Старый мудрец
25 Первые уроки
26 Каменная ведьма
27 Призрачная гаргулья
28 Истории у огня
29 Чужие инстинкты
30 Почти чудовище
31 Зубчатый фантом
32 Песчаный след
33 Последний год
34 Легенда о Драконе
35 Истинное лицо
36 Ложь длиной в два года
37 Пустота
38 Последний огонёк

Глава 1. Нортейн

Лён просыпался раньше Варна.

Он знал это по запаху, который просачивался в комнату вместе с рассветом, — терпкий, чуть горьковатый, запах мокрых стеблей и тёплой земли. Другие люди пахнут сеном, скотиной, дымом. Их дом пах льном, и Варн никогда не задумывался, хорошо это или плохо. Просто так было. Всегда.

Он поднялся до того, как солнце перевалило за крышу сарая, натянул рубаху, пахнущую золой, и на цыпочках прошёл мимо кровати Ниссы. Сестра спала, завернувшись в одеяло с головой, и только макушка с растрёпанными тёмными волосами торчала из-под края, как гнездо какой-то сонной птицы. Варн на секунду замер, прислушиваясь. Дом дышал. Отец уже был на ногах — внизу, на кухне, скрипнул табурет, глухо звякнула чугунная утятница. Мать что-то напевала. Тихо, почти без слов.

Варн вышел.

Утро в Нортейне всегда начиналось одинаково, и в этом была своя надёжность, как в стуле, который не шатается. Туман ещё лежал на льняных полях — плотный, молочный, и только верхушки голубых цветков всплывали над ним, будто кто-то рассыпал по белому кусочки неба. Поля тянулись до самой стены леса, и лес стоял тёмный, молчащий, чужой. Варн посмотрел на него чуть дольше, чем нужно.

Ему приснилось снова.

То же, что и всегда в последние месяцы, и всё равно каж-

дый раз — как в первый. Разрушенный город. Он не знал, чей это город и где он стоит, но знал, что разрушен давно: камни почернели, улицы поросли чем-то серым, похожим на пепел. Он шёл по этой улице — или его несли, он не понимал — и за спиной у него были люди. Много людей. Он не видел их лиц, но чувствовал: они идут за ним, потому что больше идти не за кем. Где-то там, впереди, в пыли и дыму, стояла фигура. Огромная. Она не двигалась, но от неё тянуло холодом, как от открытой двери зимой.

И ещё он чувствовал — вот это было страннее всего — что должен её встретить. Что все эти люди за его спиной, весь этот пепел, весь этот город существуют ради того момента, когда он дойдёт.

Он проснулся до петухов и долго лежал, глядя в потолок, слушая, как рядом сопит Нисса.

— Опять не выспался, — сказала мать за завтраком. Не спросила — сказала. Мирра замечала всё: и то, что сын ковыряет ложкой в миске, и то, что у него глаза, как у человека, который всю ночь разговаривал с кем-то, кого нет.

— Выспался, — сказал Варн.

Торвен не поднял головы от миски. Отец вообще мало поднимал голову — не потому что не интересовался, а потому что считал: пока человек ест, пусть ест. Но Варн видел, как на секунду замерла его ложка. Отец знал про сны — не про сами сны, а про то, что сын по утрам ходит как оглушённый. Знал и молчал, потому что не знал, что сказать. Торвен

вообще редко знал, что сказать, и от этого его молчание было не холодным, а скорее растерянным.

— Через четыре дня испытание, — вдруг сказала Нисса.

Все подняли глаза. Она сидела, обхватив миску ладонями, и смотрела на Варна с таким выражением, будто это он придумал испытание лично для неё.

— Ты забыл? — с укором добавила она.

— Не забыл.

— А я считаю. Четыре дня. — Она подняла четыре пальца, потом подумала и добавила пятый. — Пять. С сегодняшним.

— С сегодняшним четыре, — сказал Варн.

— Пять.

— Нисса.

— Пять!

Мирра усмехнулась в платок. Торвен поставил ложку.

Стало тихо. Все в этой семье знали, что значит «испытание», и все по-разному старались об этом не думать. В семнадцать лет каждый должен был встать в магический круг в старом храме ближнего города, и механизм — древний, старше самого города, как говорили, — покажет твой класс. Двенадцать классов. Двенадцать дорог. Кому-то выпадал Копейщик, и он оставался в деревне, потому что Копейщикам всегда хватало работы на фермах и в дозорах. Кому-то — Целитель, и тогда его увозили учиться, и мать плакала на дороге, провожая телегу. Кому-то не выпадало ничего, и это

тоже было нормально: бесклассовых было больше, чем всех остальных вместе, и никто не считал их хуже. Земля не спрашивает у тебя класс, когда ты её пашешь.

Варн мечтал не о классе. Он мечтал о том, чтобы механизм показал хоть что-нибудь. Хоть какую-то дверь, которая открывается наружу.

Он не говорил этого вслух. Но, кажется, все понимали.

— Лён ждать не будет, — сказал Торвен.

Это не был запрет и даже намёк. Это была просто правда: лён ждать не будет. Варн кивнул, допил молоко и вышел за отцом.

Первую половину дня они мочили стебли — тяжёлая, мокрая, монотонная работа, от которой ладони становились серыми и скользкими. Торвен работал молча и ровно, как вода, и Варн, глядя на его широкую согнутую спину, думал о том, что отец в свои сорок три знает о льне больше, чем любой писарь в Рэйдринге, и никогда не скажет об этом ни слова. Отец был из тех людей, чья гордость целиком спрятана внутри, как монета в подкладке кафтана.

— Руки шире, — сказал он, не оборачиваясь. — Ты как веник метёшь.

Варн поправил руки. Они работали ещё с час, и всё это время Варн чувствовал взгляд отца — редкий, косой, быстрый. Торвен смотрел на него так, будто хотел что-то спросить и снова передумал.

Спросил он только вечером, на гумне, когда они стелили

мочёные стебли для сушки.

— Ты правда хочешь туда? — спросил он. Не «хочешь ли ты». «Ты правда хочешь». Он словно проверял, не соврал ли Варн себе раньше, чем ему.

Варн положил стебель. Вытер руки о передник.

— Да.

Торвен кивнул. Так кивают, когда слышат то, что и должны были услышать, но что им не нравится. Он поднял следующий стебель, повертел его, отбросил в сторону — брак.

— Мать говорит — отпущу, — сказал он. — Она говорит, что если не отпустить, будет хуже.

Он замолчал. Стебель в его руках трещал тихо, сухо.

— Я не знаю, кто прав, — закончил Торвен. И это были самые длинные слова о чувствах, которые Варн слышал от него за год.

Вечером Нисса пришла к нему на сеновал. Это была её территория по праву младшей: она таскала сюда подушки, одеяла и однажды притащила половину материнских пряников, и Варн делал вид, что не замечает пропажи.

— Расскажи про город, — потребовала она, устроившись рядом.

— Какой город?

— Куда поедешь. Где испытание.

— Я там не был.

— Ну расскажи, какой он, если бы ты там был.

Варн засмеялся. Нисса умела задавать вопросы, на кото-

рые нельзя ответить, и делала это с лицом полководца.

— Большой, наверное, — сказал он. — Каменный. В центре — храм, старый, с колоннами. Говорят, колонны выше колокольни.

— А механизм?

— Механизм в храме.

— А какой он?

— Не знаю. Никто не знает. Он старше всех.

Нисса помолчала, глядя в потолок сеновала, где в соломе путалась лунная пыль.

— А если тебе ничего не выпадет? — спросила она. — Ты всё равно вернёшься?

— Вернусь.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Она сунула ему в руку пряник — последний, судя по тому, как она за ним следила весь вечер, — и уснула прямо там, на сеновале, привалившись к его плечу. Варн сидел, не шевелясь, и смотрел в тёмный квадрат окна, за которым стоял лес.

Фигура из сна стояла там же, в темноте, — он чувствовал её, как чувствуют надвигающуюся грозу: не видя, а кожей.

«Через четыре дня», — подумал он.

И где-то очень далеко, там, где разрушенные города ждут своих последних защитников, — он был в этом уверен, хотя не смог бы объяснить почему, — что-то услышало его и

медленно, как поворот огромной головы, обернулось в его сторону.

Глава 2. Последний спокойный день

За три дня до испытания в Нортейн пришла телега с солью — и с новостями.

Это было событие само по себе. Соль в деревню возили дважды в год, и вместе с ней всегда приезжал Фальк, торговец с сизым носом и голосом, который слышно было раньше, чем его лошадь. Он останавливался у колодца, выгружал мешки, собирал деньги и раздавал новости со щедростью человека, который живёт ими же.

Варн услышал про испытание ещё до того, как дошёл до колодца.

— Говорят, в этом году больше народу, чем обычно, — гремел Фальк, взгромождая мешок на плечо мальчишки-помощника. — Из трёх округов съезжаются. В прошлый раз, помню, механизм целых два часа не гас — всем народу показывал. Зрелище, скажу я вам.

— А что бывает, если показывает долго? — спросил кто-то из баб.

— Значит, сильный класс, — Фальк понизил голос до размера, который слышно было на другом конце деревни. — Чем дольше горит, тем дороже человек. У соседей, в Марлоу, парню в прошлую осень так показало, что через месяц за ним приехали из самой столицы. Учиться.

Варн стоял в толпе и слушал, и сердце у него стучало где-то в горле. Он не хотел столицы. Он хотел, чтобы механизм вообще посмотрел в его сторону.

— А если не покажет? — крикнул кто-то из мальчишек.

— Значит, пашешь дальше, — пожал плечами Фальк, и толпа засмеялась — не зло, по-домашнему. — Земля, парень, никого не выгоняет.

Варн пошёл домой другой дорогой, длинной, вдоль поля, чтобы не бежать. Он поймал себя на том, что улыбается, и заставил себя сделать лицо нормальным. Три дня. Три дня — и он встанет в круг.

Дома его ждало испытание другого рода.

Мирра перешивала его единственную городскую рубаху, и делала она это с таким лицом, будто перешивала не воротник, а судьбу. На столе лежала стопка вещей, которую она собирала ему в дорогу, и Варн знал: он не имеет права тронуть ни один узелок, потому что мать перевязывала их по три раза, «чтобы лучше лежало».

— Фальк говорит, народу будет много, — сообщил он, снимая сапоги.

— Фальк говорит много чего, — отозвалась Мирра, не поднимая головы. — Сядь. Примерь.

Он сел. Она приложила воротник к его шее, поморщилась, отколола, приколола заново. Руки у неё работали быстро, а глаза были куда-то не сюда — куда-то туда, где через три дня телега увезёт её сына, и она ещё не решила, будет

ли она плакать при всех или дождётся, когда телега скроется за поворотом.

— Мам.

— Что?

— Я вернусь.

— Я знаю, — сказала Мирра. И, помолчав: — Воротник подними. Сиди ровно.

Вечером того же дня Торвен позвал его в сарай. Не на работу — работы в сумерках не делали. Варн вошёл и увидел отца стоящим у верстака, а на верстаке лежало копьё.

Оно было новое в том смысле, в каком бывают новые вещи в небогатых домах: собранное из старых. Длинное, в рост человека, древко — из выдержанной берёзы, которую Торвен, видно, сушил не один год. Наконечник — из обломка лезвия, отцовского старого косаря, откованного заново и насаженного на шип. Кромка была выправлена и заточена, и в свете лампы она тускло блестела.

— Деревня — это не город, — сказал Торвен, глядя на копьё, а не на сына. — Дорога — это не поле. Там бывают звери. Бывают и похуже зверей.

Он взял копьё, взвесил в руках — привычно, как взвешивают грабли — и протянул Варну.

— Держи.

Варн взял. Копьё было тяжёлым — не неподъёмным, но таким, о которое руки спотыкаются, как о чужой язык. Он попробовал выставить его перед собой, как выставил ко-

гда-то, сам не зная зачем, палку против соседского пса. Положение вышло неуклюжим, и он почувствовал это сразу.

— Тяжёлое, — сказал Торвен. Это не был вопрос.

— Нормальное, — соврал Варн.

Торвен посмотрел на него так, что соврать второй раз не захотелось.

— Тяжёлое, — согласился он. — Но оно твоё. И оно лучше, чем ничего.

Он повернулся к верстаку и стал гасить лампу, и в темнеющем сарае голос его прозвучал оттуда, из темноты, оттуда, где он обычно держал всё, что не мог сказать при свете:

— Я в твои годы тоже хотел уехать. — Пауза. — Не уехал. Не потому что побоялся. Потому что некому было остаться.

Варн стоял с копьём в руках и не знал, что на это ответить. Торвен не ждал ответа. Он вышел из сарая первым, и уже с порога, обычным голосом, вернув себе обычность, сказал:

— Спать иди. Послезавтра поздно встанешь — в дорогу.

Ночью сон пришёл снова — и он был другим.

Всегда, все эти месяцы, это был один и тот же город: пепел, серые улицы, люди за спиной, фигура впереди. Варн знал его, как знают навязчивую мелодию, — до того места, где она обрывается. Но этой ночью город вдруг стал ближе. Он увидел стену — не рухнувшую, а обгоревшую до основания, и на стене, на высоте человеческого роста, кто-то нацарапал знаки. Не буквы. Знаки, которые он не смог прочитать, но которые почему-то показались ему знакомыми, как

знакомо лицо человека, которого встречал один раз в детстве. И среди людей за его спиной — впервые — он различил одно лицо. Женское. Молодое. Она смотрела на него не с мольбой и не со страхом, а с чем-то третьим, чему он не знал названия, и губы её шевелились. Он не слышал слов. Но он проснулся с уверенностью, странной и тёплой одновременно, что она говорила: «Мы идём за тобой не потому, что ты сильный».

Он лежал в темноте и повторял про себя эту фразу, которой не слышал, пытаясь понять, что она значит, если не потому, что сильный, то почему.

Ответа не было. Был только рассвет — четвёртый, последний перед дорогой, — и запах льна, просачивающийся в окно.

В последний день Мирра не перешивала ничего и не собирала ничего. Она испекла. С раннего утра дом был полон запаха хлеба и мёда, и Нисса кружила по кухне, как мотылёк, пока Мирра не выставила её за порог — «под ноги не путайся» — и Нисса не перебралась кружить вокруг Варна.

— Это тебе. — Она торжественно вручила ему свёрток. Внутри оказался пряник — тот самый, последний с сеновала, который он думал, она съела. — Я его берегла. Для дороги.

— Ты его три дня берегла?

— Четыре, — сказала Нисса с достоинством. — Считай правильно.

А вечером, когда солнце уже стояло на крышах, семья вышла за околицу — просто так вышла, никто этого не назначал, — и стояла, глядя на дорогу, по которой завтра уедет телега. Дорога уходила через поля, мимо леса, туда, где за холмами лежал город с древним храмом.

— Говорят, механизм старше всех королевств, — сказал Варн, сам не зная зачем.

— Говорят, — отозвался Торвен.

— А что было раньше него — никто не знает?

— Никто не знает.

— А ты хотел бы знать?

Торвен долго молчал. Мирра взяла Ниссу за руку. Где-то за лесом, низко и глухо, громыхнуло — то ли гром, то ли что-то ещё.

— Нет, — сказал наконец Торвен. — Я льновод. Мне моего знать хватает.

Он положил тяжёлую ладонь Варну на плечо — один раз, коротко, как кладут печать — и повернулся домой. Мирра улыбнулась Варну — быстро, тепло, извиняясь за то, о чём они оба молчали. Нисса помахала дороге, словно та могла ответить ей тем же.

Варн остался у околицы один.

Копьё стояло у плетня, где он его оставил, — тяжёлое, новое из старого, отцовское. Лес за полями темнел ровно и глубоко, и где-то там, за ним, за холмами, за городами, о которых он не знал ничего, стояла фигура из сна и ждала — он

был в этом уверен — ждала его ровно так же, как эта дорога.

«Завтра», — подумал он.

И в последний раз за семнадцать лет Нортейн показался ему маленьким — не тесным, а именно маленьким, как ладонь, которая держит тебя, пока ты не вырос. Он запомнил этот вечер целиком, не зная ещё, что запоминает: запах мёда из открытого окна, синий дым очагов, силуэт матери в дверях и сестрёнку, всё ещё машущую дороге рукой.

Потом он взял копьё и пошёл домой.

Глава 3. Древний храм

Телега тронулась до рассвета.

Варн сидел на мешках рядом с Фальком — торговец согласился довезти его до Милдена за небольшую плату и полдня болтовни, которую Варн не заказывал, но получал бесплатно. Нисса, разумеется, прибежала провожать его ещё затемно, хотя он просил не вставать, и теперь бежала рядом с телегой, держась за борт, пока дорога позволяла.

— Ты обещал! — кричала она, перепрыгивая через колею.

— Обещал и сделаю!

— Пять дней! Я буду считать!

— Четыре!

— Пять!

Телега вырвалась вперёд на спуске, и Нисса осталась позади — маленькая, с рукой, поднятой над головой, всё ещё ма-

шущая. Потом и она скрылась за поворотом, и Варн повернулся вперёд, потому что назад смотреть дольше было нельзя.

Мирра не пришла на дорогу. Он знал, где она: у плетня, за домом, где её не видно с улицы. Он видел утром, как дрогнула занавеска в её окне. Так было проще всем, и он был благодарен ей за это — почти.

Дорога до Милдена шла два дня. Первый день — через поля, мимо деревень, чьи названия Варн знал только по указателям: Марлоу, Тессен, Крум. Фальк рассказывал про цены на соль, про жену, которая не понимает, что такое хорошая сделка, про то, что молодёжь нынче вся уезжает в города и никто не хочет торговать честно. Варн кивал. К вечеру первого дня они обогнули холмы, и Варн впервые увидел дорогу, по которой не ходил никогда, — настоящую, наезженную, с каменными столбиками по краю, отмечающими версты.

Ночью они заночевали у постоялого двора — единственного на тракте. Варн спал в телеге, под мешками, и проснулся среди ночи от того, что замёрз. Небо над ним было огромное и незнакомое — без привычной черты леса, обрезающей горизонт на востоке. Звёзд было больше, чем в Нортейне, и они стояли ниже.

Сон пришёл и этой ночью. Тот же город, та же стена со знаками. Но теперь, когда он шёл по улице, он слышал шаги за спиной — раньше люди шли беззвучно, как во сне и положено, а теперь шаги были настоящие, тяжёлые, много

ног. И женское лицо появилось снова — на мгновение, как вспышка, — и снова губы шевелились без звука. На этот раз он успел поймать форму слов. Их было три. Он не мог их прочитать, но запомнил, как они выглядят: короткое, длинное, короткое.

Он проснулся до рассвета и долго лежал, глядя на мешок над головой, повторяя про себя: короткое, длинное, короткое.

На второй день к полудню дорога стала шире — по ней двигались телеги, верховые, группы пешеходов, и все они направлялись туда же, куда и Варн. Он понял, что едет не один, раньше, чем увидел город: по тракту, всё громче, нарастал гул множества голосов, как от роя.

— Испытание, — Фальк кивнул вперёд подбородком. — Гляди, пока есть на что глядеть. Дальше будет только на что наступать.

Милден открылся из-за последнего холма — и Варн, который всю дорогу готовил себя к большому городу, всё равно не был готов.

Он был не такой большой, как Рэйдринг, о котором говорили, что там сорок тысяч душ, но для человека из деревни, где все дома видно одним взглядом, Милден был горой. Каменные дома в два и три этажа, черепичные крыши, идущие волнами вниз к реке, дым над трубами, звон — где-то били в колокол, коротко, деловито, как отстукивают время. У ворот стояла очередь — телеги, пешеходы, стражники в

синих куртках, проверяющие что-то у каждого въезжающего. Фальк протянул бумагу, стражник глянул, махнул рукой.

— Соль, — пояснил Фальк Варну. — А ты, парень, иди уже. Храм — прямо по главной, до площади, не заблудишься: все идут туда, кому семнадцать.

Варн взял узел, попрощался, и Фальк, уже отворачиваясь к своим мешкам, бросил ему вслед, не оборачиваясь:

— Пусть покажет тебе что-нибудь хорошее, льновод.

Главная улица Милдена была мощёной — настоящим камнем, тёплым даже сквозь подошвы от солнца. Варн шёл в общем потоке и чувствовал, как город обтекает его со всех сторон: запахи свежего хлеба и кузнечного угля, крики торговцев, девчонка, гонящая гусей через переулок, мальчишки, играющие в кости на ступеньках. Он поймал себя на том, что идёт, задрав голову, как деревенский дурень, и заставил себя смотреть прямо. Не помогло. Через десять шагов он снова смотрел вверх — на вывески, на балконы, на голубей, сидящих рядами на карнизах, как ноты на строчке.

Их было много. Тех, кому семнадцать. Варн понимал это по их походке: они не спешили, но двигались так, словно их подхватило течение. Родители держались чуть позади, провожая детей, которых уже нельзя было удержать, — как лодки, оторвавшиеся от берега. Он слышал обрывки разговоров: «…говорят, в прошлом году у одной показало на четверть часа…», «…а мой дядя видел, как круг вообще не зажёгся, парень так и остался стоять…», «…мне бы Целителя, только

бы не Копейщика…»

Варн шёл и слушал, и каждый голос был как его собственный.

Площадь открылась внезапно — улица упёрлась, и пространство разлилось вширь, как река из берегов. И в центре её стоял храм.

Варн остановился.

Он видел храмы — деревенские, бревенчатые, с почерневшими от дождя коньками. Он представлял себе «колонны выше колокольни» и думал, что понимает, как это будет выглядеть. Он не понимал.

Храм был старым так, как старым бывают горы, а не постройки. Камень его стен был серым и тёмным одновременно, и по нему шла мелкая сеть трещин, но ни одна трещина не была сквозной — здание стояло так, как стоит то, что пережило всё, для чего было построено, и всё, для чего строили после него. Колонны — шесть, по числу, которое Варн машинально сосчитал, — поднимались на высоту, где глаз терял точность, и держали фронтон, на котором был изображён кто-то огромный, раскинувший руки. Не человек. Варн смотрел и не мог сказать, кто: фигура стёрлась временем, остались только масштаб и поза — руки раскинуты, голова поднята, как у того, кто принимает на себя небо.

Вокруг статуй у входа — их было четыре, по две с каждой стороны, — толпился народ. Статуи изображали воинов, но не таких, каких Варн видел на деревенских кладбищах. Эти

стояли не торжественно, а по-рабочему: щиты опущены, головы повёрнуты, как у людей, которые что-то слушают. Лица сбоку были стёрты почти до гладкости камня. Только у одной, крайней справа, уцелел глаз — глубокий, вырезанный так, что в его тени всегда лежала ночь, — и Варн, проходя мимо, поймал себя на том, что этот глаз смотрит не на площадь. На дверь храма.

Внутри шли потоком. Варн влился в него.

Зал был холодным и огромным. Звук шагов сотен ног не гремел — он глох, как глохнет в снегу, и от этого тишина казалась ещё плотнее. Свет падал сверху, из проёмов под куполом, узкими косыми столбами, в которых медленно крутилась пыль. Люди выстраивались вдоль стен, оставляя свободной середину, и в середине, в круге света, стояло то, ради чего все пришли.

Механизм.

Варн ожидал машину — колёса, шестерни, что-нибудь, что можно было бы понять глазами. Но механизм был просто кругом. Огромный, выложенный в каменном полу, диаметром шагов в десять, он был набран из пластин тёмного металла, настолько старого, что металл этот не блестел вовсе — он был цвета сухой кости. Пластины образовывали узор — не орнамент, а нечто, что читалось как письмо, если бы Варн знал этот язык. В центре круга лежал плоский камень, размером с дверцу печи, — единственное место, куда можно было встать.

Над кругом ничего не висело, ничего не двигалось. Он просто лежал в полу, и от него шёл холод — Варн почувствовал его, ещё стоя у стены. Не сквозняк. Холод, идущий из глубины, как от колодезной воды.

— Не задерживайся у круга, — сказал кто-то рядом. Седой служитель в серой рясе, с деревянной табличкой на груди, собирал молодых в очередь. — Назовёшь имя — пойдёшь, когда назову. Круг сам знает, что делать. Тебе делать ничего не надо, кроме как стоять.

— А если… — начал Варн и не знал, как закончить.

— Если что?

— Если ничего не покажет?

Служитель посмотрел на него без насмешки — устало и как-то очень старо.

— Значит, будешь пахать, — сказал он. — Земля, парень, никого не выгоняет. Следующий.

Варн отступил в очередь. Имя его назовут не скоро — перед ним стояли десятки. Он нашёл место у колонны, откуда было видно и круг, и вход, и стал ждать.

Очередь двигалась.

Глава 4. Тринадцатый знак

Имя «Варн из Нортейна» прозвучало, когда солнце уже перевалило за полдень.

Он ждал четыре часа. За эти четыре часа он видел, как круг показал одиннадцать классов — он считал, потому что

больше делать было нечего. Трижды вспыхивали знаки Копейщика — синие, ровные, угасающие быстро, как вздох. Дважды — Ткача, и каждый раз по залу пробегал смешок: Ткач считался «домашним» классом, и девушки, вставшие в круг, краснели заранее, будто механизм мог опозорить их нарочно. Один раз круг горел так долго и так ярко — белым, слепящим, — что служители переглянулись, а потом объявили: Целитель. Толпа ахнула, и парень, стоявший в круге, пошёл к выходу, глядя перед собой так, будто уже не верил собственным ногам.

Были и пустые круги. Тьма, тишина, служитель коротко кивал: «Далее». И человек выходил из круга с лицом, которое старалось не быть никаким, — и почти у всех это получалось плохо.

Варн смотрел на всё это и понимал, что боится. Не смерти — круг не убивал, об этом знали все. Он боялся пустоты. Боялся выйти из круга тем, кем вошёл: льноводом, который так и остался льноводом, и теперь вся его жизнь — это дорога назад, и она уже проложена, и на ней уже стоит его дом, и его борозда, и его сорок лет до конца.

— ВАРН ИЗ НОРТЕЙНА!

Он вздрогнул. Толпа расступилась. Он прошёл по ней — короткие взгляды, чей-то шёпот, чья-то ладонь на секунду легла ему между лопаток, толкнула вперёд, — и вышел в круг света.

Холод ударил сразу. Он шёл к центру по пластинам, и с

каждым шагом холод становился гуще, как если бы он входил не в круг, а в воду — глубокую, стоячую, из тех озёр, где никогда не купаются. Плоский камень в центре был ледяной даже через подошвы сапог.

Варн встал.

Служитель где-то за спиной произнёс слова — старые, ровные, на языке, которого Варн не понимал, но ритм которых был похож на колыбельную. Толпа затихла. Стало слышно, как капает где-то вода — он не знал, откуда в храме вода.

Ничего не происходило.

Секунда. Вторая. Третья.

Варн стоял на ледяном камне, и круг молчал, и он уже начал чувствовать, как к горлу поднимается то самое, чего он боялся все четыре часа, — когда где-то глубоко под полом, ниже любого фундамента, ниже любой земли, что-то повернулось.

Он не услышал этого — он почувствовал. Так чувствуют поезд, идущий далеко, когда кладёшь ухо на рельс: сначала дрожь, потом гул, потом знание, что оно уже близко.

Пластины загорелись.

Не все сразу — от центра наружу, волной, как расходится круг по воде. Ближние к нему пластины вспыхнули белым — не синим, не золотым, как у всех, — чистым белым, от которого больно глазам. Варн зажмурился, но свет прошёл сквозь веки, и он увидел узор пластин — изнутри, насквозь, как видят кости собственной руки у лампы.

Толпа ахнула.

— Дольше обычного… — где-то сказал чей-то голос, и голос оборвался.

Свет рос. Варн стоял в центре растущего солнца и не мог ни двинуться, ни открыть глаза, ни закричать. По телу прокатилась волна — не боль, а нечто страшнее: чужое прикосновение изнутри. Внимательно. Медленно. Не спеша, как ощупывают незнакомый предмет, стараясь понять, что это такое.

И потом — он помнил это всегда, до конца дней — что-то остановилось.

Ощупывание дошло до какой-то глубины, где-то очень внутри, и остановилось. Как рука, которая тянулась к вещи и вдруг замерла, не дотянувшись. Пауза — длинная, на три удара сердца.

А потом круг закричал.

Не Варн — круг. Свет рванул вверх столбом, пробил холодный воздух зала, задел купол, и по всем стенам, по всем колоннам, по стёртым лицам статуй побежали тени — быстрые, дёрганые, как тени от пожара. Толпа отшатнулась от круга, кто-то закричал, кто-то упал. Служители, стоявшие у круга, отпрянули к стенам, и один из них — Варн видел это сквозь белую пелену — крестился жестом, которого в храме не делали никогда.

А над полом, над кругом, над самим Варном, в воздухе, проступили знаки.

Их было много. Они не горели, как горели знаки классов,

— они висели, тёмные, чёрные на белом, как буквы на выжженной странице, и медленно поворачивались вокруг него, и складывались в строки, и строки складывались в то, что было похоже на письмо. Варн смотрел на них снизу, сквозь свет, и внутри него, где-то под рёбрами, что-то отозвалось на каждый знак — коротко, глухо, как отзывается струна, когда где-то в другой комнате берут её же ноту.

Он знал эти знаки.

Не умел их прочитать. Не помнил, где видел. Но знал — той частью себя, о существовании которой не подозревал, — и знание это поднималось — холодное и огромное, словно глубина подземного озера.

Строка над головой сложилась в последнюю фигуру — Варн успел увидеть, что она не похожа ни на одну из двенадцати, которые показывал круг за весь день, — и свет сомкнулся.

Тьма.

Он не упал — он ушёл. Провалился в темноту без дна и краёв, и в темноте, далеко-далеко, светилась одна-единственная точка. Огромная фигура из его снов стояла там, где всегда, — но впервые она была не впереди. Она была рядом. Так близко, что он чувствовал её дыхание — медленное, редкое, как дыхание гор, — и впервые она не стояла спиной к нему.

Она смотрела на него.

И губы её шевельнулись — короткое, длинное, короткое.

Варн потерял сознание, не услышав слов. В последний миг, который он помнил, служитель где-то очень далеко кричал: «Уберите людей! Всем выйти из зала!» — и голос у него был не усталый и не старый, а испуганный, и это было последнее, что Варн слышал в этом мире очень долго.

Он очнулся в отдельной комнате храма — маленькой, каменной, с узким окном, через которое косо падал вечерний свет. Он лежал на простой кровати, укрытый шерстяным одеялом, и кто-то аккуратно — видно, давно, потому что кровь на его рубахе уже засохла — обработал ему разбитую при падении бровь.

За дверью стояли шаги. Много шагов. И голоса — тихие, быстрые, взволнованные.

Варн лежал, глядя в потолок, и чувствовал, что внутри него что-то изменилось. Что-то появилось — тихое, глубокое, незнакомое, как новая комната в доме, где он прожил всю жизнь.

Тогда он ещё не понимал, что именно появилось внутри.

Он знал только, что круг показал ему не то, что показывает всем. И что теперь ему предстояло узнать, что с этим делают с такими, как он.

Глава 5. Мечник

Варн просыпался трижды, прежде чем проснулся по-настоящему.

Первый раз — в темноте, от собственного дыхания: оно

звучало слишком громко, словно комната сжалась. Он не понял, где он, и снова ушёл под воду. Второй раз — от света: кто-то зажёг лампу за дверью, и узкая полоса легла в щель под дверью, и он смотрел на неё, не в силах вспомнить, что это за щель и почему он должен её бояться. Третий раз он проснулся уже до конца.

Вечерний свет падал из узкого окна на каменный пол. Комната была маленькая: кровать, табурет, распятие — нет, не распятие, Варн присмотрелся — ниша в стене, пустая, с потёртым от прикосновений краем. В нише ничего не стояло, и от этой пустоты было почему-то спокойнее, чем было бы от любой статуи.

Он сел. Голова держалась — тяжёлая, как после жару, но держалась. Бровь над правым глазом тянула: он дотронулся и нащупал повязку. Рубаха на нём была чужая, простая, накрахмаленная.

И тогда он вспомнил. Круг. Свет. Знаки, висевшие в воздухе, — тёмные, поворачивающиеся, отзывающиеся где-то под рёбрами. Крик служителя. Тьму — и фигуру, которая впервые за все месяцы посмотрела на него.

Варн сидел на краю кровати и ждал, что внутри снова отзовётся — та струна, та глубина, тот холод из-под пола. Внутри было тихо. Только эта новая комната — он не мог назвать это иначе — стояла где-то под сердцем, тёмная и молчаливая, как сарай, в который закрыли дверь.

За дверью всё ещё слышались шаги. Но теперь их было

меньше, и они стали ровнее — не беготня, а дежурство.

Он встал. Ноги держали. Он дошёл до окна: внизу, далеко, лежала площадь — пустая, выметенная, в длинных косых тенях от колонн. Народ разошёлся. У входа в храм стояли двое стражников и один человек в сером — не служитель: тот был без таблички, и стоял он не так, как стоят сторожа. Он стоял так, как стоят те, кто смотрит.

Варн отпрянул от окна чуть раньше, чем понял, зачем.

Дверь открылась без стука.

Вошёл человек, которого Варн видел утром у круга, — старший из служителей, седой, сухой, с лицом, которое умело быть любым. Утром, у круга, оно было усталым и старым. Сейчас оно было добрым — тщательно, заботливо добрым, как постеленная для гостя постель.

— Очнулся, — сказал он. — Хорошо. Плохо вы нас напугали, парень. Плохо.

— Что… — голос у Варна был сорванный. Он попробовал ещё раз. — Что со мной было?

— Обморок. — Служитель поставил на табурет кувшин с водой, кружку, миску с чем-то, что пахло похлёбкой. Всё это делалось неторопливо, по-домашнему. — От жары, от духоты, от волнения. Молодой организм, перегрузка. Бывает, за день падают двое-трое.

Варн смотрел на него.

— А круг? — спросил он. — Что показал круг?

Служитель вздохнул. Он вздохнул так, как вздыхают лю-

ди, которым часто задают один и тот же вопрос и которые давно нашли на него ответ, — и Варн, который всю жизнь читал по лицам отца и матери, услышал в этом вздохе фальшь. Не злую. Репетиционную.

— Круг показал, что положено, — сказал служитель. — Садись, ешь. Ты у нас на ногах не стоял толком.

— Я видел знаки, — не сдавался Варн. — Они не были… они не были как у других. Они были другие. И свет был другой. Белый.

Служитель сел — сам, на единственный табурет, и это было умно: теперь Варну пришлось стоять, и он оказался ниже. Он тоже сел — на кровать.

— Парень, — сказал служитель, и голос его стал ещё добрее. — Как тебя зовут?

— Варн.

— Варн. Ты знаешь, сколько людей прошло через круг за сегодня?

— Не знаю.

— Триста сорок один. Я знаю, потому что я веду список тридцать лет. И знаешь, сколько из этих трёхсот сорока одного видели свет изнутри, знаки в воздухе, тени на стенах?

— …

— Ни один, — сказал служитель. — Потому что ничего этого не было. Был яркий круг — бывает, у сильных классов бывает. Была жара, толпа, духота, страх. И был обморок. Всё остальное, парень, — это то, что ты видел в обмороке. Мозг

в обмороке рисует такое, что потом сам не верит. Ты видел, как тебе показалось. Это нормально. Это даже хорошо: значит, ты хотел класс сильно. Сильно хотеть — не стыдно.

Он говорил гладко. Он говорил, как говорят люди, которые повторяли это раньше, — и Варн вдруг понял, что не может вспомнить ни одной его ошибки, ни одного сбоя в словах. Так не говорят с листа. Так говорят заученное.

— А какой класс? — спросил Варн.

— Мечник, — сказал служитель сразу. Слишком сразу. — Хороший класс. Крепкий. Мечников берут везде — в дозор, в караваны, в гильдии. Ты, я смотрю, парень крепкий, фермерский — тебе с мечом будет удобно. Рука привычная к тяжести.

— Но я видел…

— Ты видел обморок, — повторил служитель, и впервые в голосе его появилась сталь — тонкая, на донышке. — Варн. Послушай меня внимательно, потому что я скажу это один раз. Круг показал Мечника. В списке у меня записано: Мечник. Эту запись я отдаю в городскую книгу, и из неё её перепишут в окружную, и из окружной — в гильдейскую. Всё, что ты видел сверх этого, осталось в этой комнате, и лучше всего будет, если оно останется здесь навсегда. Не потому что я тебе запрещаю. А потому что людям, которые видят в круге больше, чем показывает круг, жить потом трудно. Ты меня понял?

Варн понял. Не всё — но главное он понял: то, что с ним

случилось, случилось не только с ним. И кончалось это для тех, кто видел, — плохо. Служитель не сказал «плохо». Служитель сказал «трудно». Но у Торвена тоже были слова, которые значили больше, чем говорили.

— Понял, — сказал Варн.

— Хорошо. — Сталь ушла из голоса, доброта вернулась на место, как маска на лицо. — Ешь. Ночью выспишься, утром тебе выправят бумагу, и поедешь домой счастливым Мечником. Повезло тебе, парень. Мечник — это жизнь.

Он встал, взял лампу и пошёл к двери. У двери остановился — Варн видел его спину, узкую и прямую в серой рясе, — и, не оборачиваясь, добавил другим голосом. Не добрым и не стальным. Почти человеческим.

— И матери не рассказывай, — сказал он. — Матери такие вещи рассказывать не надо. Пусть будет, как есть: сын — Мечник. Это хорошая новость. Не порти ей новость.

Дверь закрылась. Ключ в замке повернулся — Варн слышал это отчётливо, и от этого звука у него похолодели пальцы. Не заперли бы, если бы всё было так, как сказал старик. Не заперли бы человека, который просто упал в обморок.

Он сел на кровать. Похлёбка в миске остыла, но он съел её — всю, до дна: тело требовало, тело было право. Потом он долго сидел, глядя на пустую нишу в стене.

«Мечник», — подумал он.

И внутри, из той новой тёмной комнаты под сердцем, — впервые, тихо, как первое слово ребёнка, — что-то ото-

звалось. Не знаком. Не светом. Просто знанием, простым и страшным, как знание о смерти:

это неправда.

Он не был Мечником. Круг не показал Мечника. Круг показал что-то, чему не нашлось места среди двенадцати, — и старик в серой рясе знал об этом всё, и солгал ему в лицо, доброжелательно, заботливо, тридцать лет выученной ложью.

Варн лёг. Одеяло пахло чужим домом. За окном догорал вечер, и где-то внизу, на площади, человек в сером всё ещё стоял и смотрел на дверь храма — Варн был в этом уверен, хотя не подходил больше к окну.

«Я обещал Ниссе вернуться, — думал он. — Я обещал».

Он будет возвращаться. Он вернётся домой с бумагой, где написано «Мечник», и мать обнимет его, и Торвен кивнет, и Нисса будет считать дни до его следующего приезда. И никто из них никогда не узнает, что в старом храме, в круге старше всех королевств, что-то посмотрело на семнадцатилетнего льновода — и не смогло понять, кто он такой.

А это, чувствовал Варн, засыпая, было только начало. Комната под его сердцем была тёмной, но она была. И в ней было что-то, что ждало.

Он уснул — и во сне снова стоял в разрушенном городе, и люди шли за ним, и шаги их были тяжёлые и настоящие, и женщина с молодым лицом шла теперь не позади всех, а рядом, первой, и губы её шевельнулись: короткое, длинное,

короткое.

И на этот раз — впервые — он услышал.

Не слова. Только то, что они значили, — как понимают не язык, а плач.

«Не бойся того, что внутри».

Он проснулся утром с этими словами в голове — и они были единственным, что он помнил, кроме белого света и чёрных знаков. Он повторил их про себя, глядя в каменный потолок, и решил: он не расскажет. Ни матери. Ни отцу. Ни Ниссе.

Никому другому.

Пусть будет, как сказал старик. Пусть будет Мечник.

Тогда он не мог представить, во что обойдётся эта ложь — его собственная и старика. Через год она будет стоить ему всего.

Он просто лежал и слушал, как под дверью меняются шаги, и учился быть тем, кем его записали в книге.

Глава 6. Домой

Бумагу Варну выправили к полудню.

Она была маленькая — лист плотной серой бумаги размером с ладонь, с печатью Милдена внизу и строчкой, выведенной аккуратным писарским почерком: *«Варн, сын Торвена, деревня Нортейн. Класс: Мечник. Год семнадцатый»*. Варн читал её раз десять, пока шёл от храма к постоялому двору, и каждый раз строчка казалась ему чужой. Так читают

письмо, написанное твоей рукой в пьяном угаре, — почерк твой, а слов ты не говорил.

Старший служитель — Варн так и не узнал его имени — проводил его до дверей лично. Теперь он был сама доброта: жал руку, желал дороги, советовал в Рэйдринге не задерживаться на дешёвых постоялых дворах и не соваться в подпольные ямы, где Мечникам обещают лёгкие деньги. «Тебе в гильдию, парень, — говорил он. — С бумагой в гильдию возьмут сразу. Работай честно, расти в ранге — и через пять лет будешь сам себе хозяин». Он говорил всё это правильно, тепло, без запинки. И всё время, пока говорил, — Варн заметил и не смог развидеть — его глаза дважды скользнули к узлу за спиной Варна, где лежала бумага, и один раз — куда-то мимо, на площадь, где человек в сером без таблички всё ещё стоял у входа.

— Счастливой дороги, Мечник, — сказал старик на прощание.

Слово «Мечник» он произнёс чуть громче, чем остальные. Так, что слышали двое стражников у дверей. Так, что теперь они знали: этот — Мечник, всё в порядке, ничего не случилось.

Варн понял это уже на дороге, идя к постоялому двору за своим узлом. Старик не просто солгал ему. Старик строил ложь на виду — как строят стену: камень к камню, на глазах у всех, чтобы никто не заметил, когда она выросла.

Он уехал из Милдена после полудня, на попутной телеге

с бочонками рыбака, который вёз в деревни солёную рыбу и всю дорогу спал, доверив вожжи Варну. Варн правил и смотрел на дорогу, и бумага лежала у него за пазухой, и каждый раз, когда телега подпрыгивала на колее, он чувствовал её углом — холодную, плотную, настоящую. Бумага была настоящей. Всё остальное — нет.

Он думал о том, что скажет дома. Репетировал, как репетируют речь перед свадьбой или поминками, — и от того, что репетиция больше походила на второе, у него ныло под рёбрами. «Мечник», — должен был он сказать просто, как говорят правду. Улыбнуться. Показать бумагу. Пусть мать обрадуется, пусть Нисса запрыгает, пусть Торвен кивнет и скажет: «Хорошо». Пусть всё будет так, как должно было быть, если бы круг показал Мечника.

А про белый свет, про чёрные знаки, про комнату под сердцем и про слова женщины из сна — про это он скажет: «Упал в обморок от жары». Старик был прав в одном: матери такие вещи рассказывать не надо.

Дорога заняла два дня. На второй вечер Варн поднялся на знакомый холм — и увидел Нортейн.

Деревня лежала внизу, в синих сумерках, маленькая и целая: дымы над трубами, огни в окнах, лай собак, который он слышал за версту, потому что собаки узнавали его шаги раньше, чем люди. Варн стоял на холме и смотрел, и внутри у него что-то разжималось — то, что сжалось в храме и не разжималось всю дорогу. Дом был. Дом был на месте. Он

обещал — и он вернулся.

Он побежал. Семнадцатилетний Мечник, уставший за дорогу, бежал вниз по холму, как бежал в десять лет, с рыбалки, когда мать пекла пирог, и рыбацкая удача жгла карманы.

Нисса увидела его первой. Она вылетела из-за дома с криком, который поднял полдеревни, — и врезалась в него на бегу, и повисла на нём, и он кружил её, и она визжала, и в окнах соседних домов зажигались огни, и открывались двери.

— Пять дней! — кричала Нисса. — Я считала! Пять!

— Четыре с половиной, — сказал Варн.

— Пять!

Мирра вышла на порог, вытирая руки о передник, и остановилась. Она не побежала. Она стояла и смотрела на него — на живого, на целого, на вернувшегося, — и лицо у неё было то, которое он запомнил потом на всю жизнь: лицо человека, которому сразу дали всё, что она просила у неба, и она боится разглядеть в этом подвох. Потом она всё-таки подошла — быстро, почти побежав на последних шагах, — и обняла его, и он уткнулся лицом в её плечо, и пахло от неё хлебом и дымом и домом.

— Мечник, — сказала она ему в макушку. Она не стала спрашивать: уже знала — Нисса, разумеется, успела выкрикнуть. — Мечник.

— Мечник, — сказал Варн в её плечо.

Ложь вышла легко. Вот что было страшно. Он ждал, что она застрянет, что голос дрогнет, что мать — которая читала

его всю жизнь, как Торвен читал погоду перед сенокосом, — посмотрит ему в глаза и спросит: «А что на самом деле?» Но ложь вышла гладко, потому что он репетировал два дня, и мать заплакала — от радости, открыто, не таясь, — и никто ничего не спросил.

Торвен вышел последним. Он подошёл, посмотрел на бумагу — Варн протянул её молча, — и читал её долго, дольше, чем читал бы человек, умеющий быстро читать. Торвен читал медленно, водя пальцем по строчке, и Варн видел, как палец останавливается на слове «Мечник».

— Хороший класс, — сказал Торвен.

Он сказал это ровно. Но Варн, который ждал, услышал в ровности трещину. Отец ждал другого — не «Мечника», не «Копейщика», не ничего. Отец ждал, что круг не посмотрит на сына, и сын останется. «Мечник» означал: уедет. «Мечник» означал: гильдия, дозоры, дороги, чужие города. Торвен свернул бумагу, вернул сыну и сказал:

— Ужин стынет.

Больше ничего не последовало. Но этого хватило: отдавая бумагу, рука его на секунду — на полсекунды — сжала Варнову ладонь поверх неё. Крепко. Как жмут руку не сыну, а равному, с которым прощаются перед общей работой.

За ужином рассказывали. Варн рассказывал дорогу — Фалька, рыбу, постоялый двор, очередь в храме, — и рассказывал правду, потому что в дороге не было ничего, что надо было бы прятать. Про храм он сказал: «Толпа, жара, я упал

в обморок, очнулся в комнате, мне дали бумагу». Нисса потребовала подробностей про обморок, и он соврал ей — легко, добавив, что видел «золотые круги, как у всех», и Нисса осталась довольна. Мирра слушала и подкладывала ему хлеба. Торвен слушал молча, глядя в стол.

— А круг долго горел? — спросил вдруг Торвен. Не поднимая головы.

Варн почувствовал вопрос, как холодок между лопаток.

— Не знаю. Я очнулся уже в комнате.

— Хм, — сказал Торвен.

И всё. Но Варн знал: отец не поверил. Не в «Мечника» — в гладкость. Торвен всю жизнь имел дело с лёном, а лён не бывает гладким, где должен быть узел, и отец нащупал узел — и, как всегда, промолчал. Он промолчит и дальше. Варн знал это почти наверняка, и от этого знания было и легче, и тошнее: отец будет молчать и беречь его молчание, как берегут занозу, которую нельзя достать.

Ночью Варн лежал на своей кровати — дома, в своей комнате, под знакомым потолком, — и не спал.

Комната под сердцем была на месте. Он проверял её весь вечер, тихо, как проверяют больной зуб: не трогая, только прикасаясь вниманием. Она отвечала. Тёмная, молчаливая, она стояла там, где появилась в храме, и в ней было что-то, что ждало, — он не знал что, и это незнание пугало его меньше, чем другое.

Меньше, чем то, что он лгал. Что лгал матери, глядя ей

в глаза, и она плакала от радости, и слёзы были настоящие, а радость — наполовину его, наполовину выдуманная. Он лежал и думал: вот она, цена. Старик в храме сказал «трудно» — и теперь Варн знал, как это выглядит изнутри. Трудно — это когда дома всё по-прежнему, а ты уже никогда не по-прежнему, и между тобой и домом стоит бумажка с чужим словом, и через эту бумажку теперь проходят все объятия.

«Не бойся того, что внутри», — вспомнил он.

Легко сказать, подумал он в темноту. Внутри — комната, в которой что-то живёт. Снаружи — отец, который знает, что я соврал, и молчит. Мать, которая счастлива выдумкой. Сестрёнка, которая считает дни.

Он повернулся на бок. За окном, за полями, стоял лес — тот же, что всегда, тёмный и молчащий. Где-то там, далеко, стояла фигура из сна. Где-то там, в городах, о которых он не знал, лежали дороги, гильдии, задания, деньги для семьи — вся новая жизнь, выправленная ему серой бумажкой.

«Мечник, — подумал он в последний раз перед сном. — Ну что ж. Мечник так Мечник».

И комната под сердцем — он почти готов был поклясться — отозвалась на это тихим, глубоким, почти довольным толчком. Словно кто-то внутри услышал его и согласился:

пусть будет Мечник.

Ему снился разрушенный город. Женщина шла рядом, первой, и на этот раз она не говорила ничего — только шла, и этого было достаточно. А за городом, там, где кончался пе-

пел, впервые проступала дорога — настоящая, наезженная, уходящая за горизонт, — и по ней, навстречу, шёл кто-то ещё.

Варн не разглядел, кто.

Он проснулся от петухов — и впервые за пять дней проснулся легко, как просыпался дома всю жизнь, — и запах льна был на месте, и дом дышал, и всё было как всегда.

Кроме того, что где-то под его рёбрами, в тёмной комнате, что-то терпеливо ждало своего часа.

Глава 7. Пепельный волк

Дома Варн пробыл шесть дней. На седьмое утро Торвен, не поднимая головы от миски, сказал:

— В Рэйдринг тебе идти надо. Гильдия сама себя не найдёт.

Он сказал это так, как говорят «пора сеять» — не обсуждая, а отмечая срок. И Варн понял, что отец решал всё это время не «пускать или не пускать». Отец решал, сколько дней сын побыть дома ещё может, чтобы дом успел привыкнуть к тому, что он уедет.

Мирра собрала его за один вечер — она уже умела это делать, узелки теперь вязались с первого раза. Нисса не плакала. Она торжественно вручила ему второй пряник — «на обратную дорогу, это другие, не те» — и сообщила, что будет считать дни до Крестчины, деревенского праздника, до которого оставалось семьдесят с лишним, и что Варн обязан

приехать к Крестчине, потому что она так сказала.

— Обязан, — согласился Варн.

— Я записываю, — сказала Нисса и действительно вывела углём на притолоке маленькую чёрточку, которую он потом, через много лет, будет искать на разрушенном доме и не найдёт.

Он уходил на рассвете. Мирра в этот раз вышла на дорогу — они сговорились с ней молча, глазами, ещё вечером: в прошлый раз она не пришла, в этот пришла, и оба знали почему. Она обняла его, перекрестила — хотя церковь в Нортейне стояла заколоченная уже лет двадцать, — и сказала одно:

— Ты мне лучше пиши реже и живи дольше. Чем чаще пишешь, тем хуже думают.

Варн засмеялся, а потом, уже на холме, обернувшись, понял, что она не шутила, и запомнил это на всю жизнь.

До Рэйдринга он шёл пешком три дня. Дорога была оживлённее милденской: телеги, верховые, патрули в синих куртках у мостов. На второй день он обогнал пешего старика с котомкой, на третий — его обогнала компания молодых искателей с оружием и гербовыми нашивками, и один из них, поравнявшись, окинул Варна взглядом — сапоги, копьё, деревенская котомка — и отвернулся. Варн не обиделся. Он запомнил, как это делается, и решил, что научится так же.

Рэйдринг ударил его, как вода с моста.

Милден был городом. Рэйдринг был миром. Стены стояли

в два ряда — внешняя и внутренняя, — и между ними жили целые кварталы; ворота были шириной в шесть телег; улицы шли кольцами, и в каждом кольце был свой запах: у ворот — конский пот и железо, дальше — рыба и краски, в центре — вино, воск, дорогая пыль чужих земель. Варн шёл по главной улице и поворачивал голову, как сова, — туда и сюда, туда и сюда, — пока не понял, что так можно свернуть шею, и стал смотреть, как смотрят местные: вперёд, а всем остальным — краем глаза. Не получалось. Краем глаза он видел слишком много.

Гильдию он нашёл к вечеру — по вымпелу над дверью: серебряный меч на синем поле. Внутри было шумно, тепло и пахло так, что у него свело желудок: жареным мясом, элем, мокрым сукном. Зал уходил вглубь — стойка регистрации, за ней доска заданий, исписанная листами, дальше столы, дальше, в дыму, — тренировочные манекены и стойки с оружием. За стойкой сидел человек с лицом из красного дерева и читал книгу, перевёрнутую вверх ногами.

— Класс? — сказал он, не глядя.

— Мечник.

— Бумага.

Варн протянул серый лист. Человек перевернул книгу, посмотрел на бумагу, на Варна, снова на бумагу.

— Милден? — спросил он. — Милденский храм?

— Да.

— Живой из Милдена. — Человек хмыкнул, поставил на

стойку толстую книгу регистрации, обмакнул перо. — Имя. Полное.

— Варн, сын Торвена, деревня Нортейн.

Перо заскрипело. Потом человек достал из-под стойки жестяную пластину — тусклую, серую, тяжёлую, как кусок крыши, — и бросил её на стойку перед Варном.

— Железо. Не теряй — восстановление платное. Правила: на доску заданий смотреть, брать то, что по рангу, чужие задания не перехватывать, с рангом выше — не лезть. Столовая до полуночи, лазарет наверху, если вернёшься. Вопросы?

— Один, — сказал Варн. — Что мне брать? По рангу?

— Всё, что по рангу, — сказал человек с лицом из красного дерева и вернулся к перевёрнутой книге.

Первое задание Варн взял на следующее утро. Оно висело на доске в самом низу, на гвоздике, воткнутом отдельно от остальных, — листок был старый, перечёркнутый и переписанный заново трижды, и писарь на стойке, увидев его в руке Варна, впервые поднял глаза от книги.

— Травы? — сказал он. — Серебролист, три пучка, урочище у Клэнтонского тракта. Это задание висит с весны. Его брали четыре раза.

— И что?

— И два раза вернулись с травой. Один раз вернулись. Один раз не вернулись. — Писарь пожал плечами. — Серебролист растёт там, где сыро и тихо. Сыро и тихо — это болотная сторона. Болотная сторона — это то, о чём я тебе

рассказывать не буду, потому что ты всё равно пойдёшь, раз взял лист. Платят хорошо.

— Сколько?

— Достаточно, чтобы ты вернулся за вторым таким же листом, — сказал писарь и вернулся к книге.

Урочище лежало в шести часах ходьбы от Рэйдринга, по тракту на юг, потом влево, в низину. Варн вышел до рассвета, шёл весь день и к полудню понял, почему задание висело с весны.

Низина была красивая — и именно этим она была страшна. Травы в ней стояли по грудь, сочные, тёмно-зелёные; среди них белели огромные цветы, похожие на опрокинутые колокола; воздух был тёплый, неподвижный и пах медом и чем-то ещё, тонко, приятно и неправильно, как слишком сладкий чай. Птиц не было. Совсем. Варн заметил это не сразу, а когда заметил — уже не смог перестать слышать тишину.

Серебролист он нашёл через час поисков — по книге, которую ему дали в гильдии: низкий, с сизыми, будто присыпанными пеплом листьями, рос он у воды, на кочках, и в книге было написано: «Срезать острым ножом, не рвать и не мять». Варн срезал первый пучок, второй. Руки работали, голова считала: серебролист, три пучка, платят достаточно, чтобы вернуться за вторым листом. Он уже почти успокоился, когда услышал её.

Она не кричала. Она пела — или то, что у птиц бывает вместо пения: три ноты, короткое, длинное, короткое, — и

Варн замер с ножом над стеблем, потому что узнал ритм. Тот самый. Из сна.

Птица вылетела из ивового куста — невзрачная, серая, размером с кулак, — села на кочку в трёх шагах и посмотрела на него. Глаза у неё были жёлтые. Не как у птиц — как у волка.

Варн стоял не шевелясь. Птица смотрела. Потом она качнулась, как качается голова у человека, который что-то решил, — и улетела, и тишина сомкнулась снова, и Варн обнаружил, что стоит с занесённым ножом и что сердце колотится, как у загнанного зверя.

«Короткое, длинное, короткое», — подумал он. И добавил про себя, впервые вслух, в пустую низину:

— Что ты такое?

Низина не ответила. Он срезал третий пучок, завернул в тряпицу, как было написано в задании, и пошёл обратно — быстро, не бегом, но быстро, и всю дорогу чувствовал затылком низину за спиной, как чувствуют того, кто смотрит вслед.

Он вернулся в Рэйдринг к ночи, сдал травы, получил деньги — больше, чем Торвен зарабатывал за месяц, — и деньги эти, лёгкие, чужие, пахнущие болотом, он положил в кошель и всю ночь не мог уснуть, потому что слышал три ноты.

На четвёртый день после этого Варн возвращался с обычного поручения. Он брал задания у тракта — безопасные, дальние, — и в этот раз доставил письмо на хутор. Хуторской

старик, расписываясь в квитанции, сказал ему: «Слыхал, парень? У Нортейна, говорят, зверь. Пепельный. Скотину режет. Твоя сторона, небось?»

— Какой зверь? — спросил Варн.

— Пепельный волк, — сказал старик. — Из Тёмных земель. Их по осени видели у Крума, теперь, говорят, к вам зашёл. Странно это. Они оттуда не уходят. Никогда не уходили.

Варн шёл домой по знакомой дороге — теперь она была знакомой, он ездил в Нортейн раз в две недели, — и думал о том, что сказал старик. «Никогда не уходили». А этот ушёл. Зачем волку, который живёт в пещерах с мёртвыми воинами за сотню вёрст, уходить оттуда — сюда, к льняным полям?

Ответ он получил на закате, у околицы.

Волк вырвался из леса беззвучно — не рыча, не шурша, а просто возникнув, как возникает в глазах то, что уже бежит на тебя. Серый, с чёрными пятнами, неестественно длинноногий, он нёсся через стерню, и жёлтые глаза его были нацелены Варну в горло, и времени на страх не было — только на движение.

Варн отскочил. Волк прошёл мимо — в сантиметрах, он почувствовал его дыхание, — развернулся быстрее, чем любое существо, которое Варн видел, и пошёл вторым заходом, низко, прижимаясь к земле.

Бежать. Мысль была простая и правильная: бежать к деревне, к людям, к огню. Варн побежал — и понял через де-

сять шагов, что не убежит. Волк не догонял его — он играл. Он шёл сбоку, параллельным курсом, на расстоянии прыжка, и Варн видел, как тот подстраивает свой бег под его, как волк подстраивается под добычу, которой даёт вымотаться.

Копьё. У Варна было копьё — отцовское, тяжёлое, о которое руки спотыкаются, — и оно было у него в руках, потому что дорога, и Торвен сказал «оно лучше, чем ничего», и Варн нёс его всю дорогу, привыкая.

Он развернулся. Не храбрость — некуда было бежать: впереди, в тридцати шагах, темнела стена леса, и бежать в лес от лесного зверя Варн не хотел даже в ту секунду. Он встал, выставил копьё — как выставлял палку против пса, как пробовал в сарае, — и волк прыгнул.

Он прыгнул на горло. Варн это понял в последнюю секунду — не отскочить, не уйти, слишком быстро, — и сделал единственное, что оставалось: упал навстречу, выставив древко, как выставляют шест, и закрыл глаза.

Вес удара пришёл сверху. Древко дрожнуло, вошло куда-то глубоко, по руке хлынуло тепло — Варн думал, что это его кровь, — и волк, насаженный, бился на древке, дёргая лапами, и клыки его щёлкали в вершке от Варнова лица, и Варн лежал, придавленный к земле тяжестью умирающего зверя, и кричал — он слышал свой крик как со стороны, тонкий, чужой.

Потом биться перестало.

Варн отполз. Сел. Посмотрел на волка — тот лежал на бо-

ку, проколотый насквозь, и жёлтые глаза его гасли, как гаснут угли, — и на свои руки. Руки были в крови. Весь он был в крови — волк был залит кровью, и Варн, лежавший под ним, был залит тоже, с головы до ног, и тепло, которое он принял за свою смерть, было чужой кровью.

Он сидел на стерне, в закатном свете, весь красный, и дышал, и не мог встать.

А потом внутри зажглась звезда.

Он не нашёл другого слова — ни тогда, ни после. Глубоко, там, где стояла тёмная комната, вспыхнуло тепло — не жар, а свет, который греет, — и комната, тёмная с самого храма, впервые осветилась изнутри. И в этот свет хлынуло всё, что было волком.

Детство. Он — волк — слепой, тёплый, в логове, среди братьев и сестёр, и мир — это запах матери и молоко. Потом — рост, первая охота, первая неудача, клык старшего, который учит: не бери след у воды. Потом — годы, полные ветра: бег, бег, бег по Тёмным землям, где небо всегда низкое, и пещеры, где лежат кости, старые и новые, и запах пепла, от которого они получили имя. Потом — одиночество: братья ушли, мать ушла, и он остался один, и одиночество не было горем — оно было просто воздухом, которым дышит волк.

И — в самом конце, последним, как прощание, — смутное, огромное ощущение пути. Не мысли. Волк не думал словами. Но Варн почувствовал то, что чувствовал волк, когда уходил из Тёмных земель: не голод, не блуждание — зов.

Тихий, неотвратимый, как течение под льдом, тянувший его на юг, через вёрсты, к полям и деревне, к человеку, которого он не знал, — к Варну.

Волк шёл к нему. Всё это время, все эти вёрсты — волк шёл к нему, и Варн никогда не узнает, зачем, потому что волк умер, не успев дойти до смысла, и смысл умер вместе с ним.

Варн закричал.

Он не помнил, как долго кричал. Он помнил только, что кричал и по-волчьи, и по-человечески, двумя голосами сразу, и что боль была не в теле — в том месте, где кончался Варн и начиналось что-то другое, и граница эта теперь была порвана, и через неё текло в обе стороны.

Когда он пришёл в себя, было темно. Звёзды стояли над стернёй. Волк остыл. Копьё лежало рядом, наконечник был тёмен от запёкшейся крови.

И перед глазами — прямо в воздухе, тускло, серо, ненавязчиво — висела строчка:

Получено наследие : Пепельный волк . Способность : Зрение следопыта .

Варн смотрел на неё долго. Потом она погасла — тихо, как гаснет свет в окне, когда за ним проходят, — и мир остался обычным: стерня, звёзды, мёртвый зверь, семнадцатилетний парень, весь в чужой крови.

Он поднялся. Ноги дрожали. Он поднял копьё, взвалил волка на спину — тот был тяжёлый, как крупная овчарка, и Варн шёл под этой тяжестью, шатаясь, — и пошёл к дерев-

не: волка надо было показать, надо было сказать людям, что зверь мёртв, надо было делать всё то, что делают люди после такого.

По дороге, у самого леса, он остановился — потому что увидел.

В темноте, там, где минуту назад была чернота, он видел теперь всё: тропу, протоптанную зверем, сломанный папоротник, старые кости у корней — оленьи, давно чистые, — и следы. Свои следы, вчерашние, позавчерашние, — они светились слабым, тусклым светом, как угли под золой, и вели от деревни в лес и обратно, и он читал их, как читают письмо, — и понимал, что это не глаза. Это что-то новое. Это Зрение.

Волк отдал ему не только способность. Волк отдал ему способ видеть.

Варн стоял в темноте, весь в крови, с мёртвым зверем на спине, и смотрел на светящиеся следы собственной жизни, разбросанные по земле, — и где-то глубоко, в освещённой теперь комнате, что-то шевельнулось, устраиваясь поудобнее.

Оно было довольно.

И впервые Варн подумал, что страшно не то, что внутри него живёт чужое. Страшно то, что чужому здесь нравится.

Глава 8. Чужое зрение

Волка Варн сдал старосте утром.

Деревня не спала: о звере знали все, скотину с вечера загнали во дворы, и когда Варн вошёл на площадь — серый, в засохшей крови, с мёртвым волком на спине, — его встретили так, как встречают не человека, а новость. Толпа сомкнулась, загудела, кто-то схватил его за плечо, кто-то заглядывал под руку, где свисали длинные волчьи лапы.

— Пепельный! — кричали. — Пепельный, точно, гляди — ноги! — Из Тёмных земель! — Откуда ж ещё! — А парень-то — чей? Торвенов! — Торвенов сын! — Мечник же, бумага у него!

Староста Гарт — сухой, с бородой в два кулака — отодвинул толпу ладонью, как отодвигают занавес, и долго смотрел на волка. Потом на Варна. Потом снова на волка.

— Ты его чем? — спросил он.

— Копьём. Он сам на него напоролся.

— Он на что-нибудь сам напоролся? — Гарт покачал головой. — Таких от Крума до моря не били. Их видели. Их ждали. Их не били.

Волка унесли четверо — на жерди, вдвоём с каждого конца, и всё равно шли тяжело. Шкуру, после долгого спора, решили снять и повесить в старостином доме: «Пусть лежит, пока не решат, что с ней делать». Решать было некому — зверь не принадлежал ни лесу, ни чьему-то двору, и по всем правилам шкура принадлежала тому, кто убил, но никто, включая Варна, не решился сказать это вслух. Слишком чужим был зверь.

Мирра отскребла его от крови в бане — молча, только один раз сказала, оттирая затылок: «Живой». Не вопрос. Утверждение, которым она себя лечила. Торвен осмотрел копьё — наконечник, древко, — вернул и сказал только:

— Древко трещину дало. Перемотай.

На этом разговор закончился. Но вечером, на гумне, он подошёл к Варну, постоял рядом, глядя на стога, и сказал:

— Ты не убегал.

— Некуда было бежать.

— Бегут всегда, — сказал Торвен. — Куда угодно бегут. Даже в лес. — Он помолчал. — Ты встал. Это я к чему. Лён — он тоже встаёт, когда буря валит. А потом лежит и думает, вставать ли дальше. Ты вот встал. Ладно.

Он ушёл, и Варн ещё долго стоял, переворачивая в голове отцовские слова, в которых ни разу не прозвучало слово «горжусь» и которые были им — Варн чувствовал — целиком и есть.

Ночью начались сны.

Он понял это ещё до сна — по тому, как легла темнота. Комната под сердцем больше не была тёмной: в ней стоял свет, ровный, волчий, лунный, и через этот свет к нему шли картинки. Не как раньше — обрывками, туманом, — а как воспоминания. Чужие.

Он видел Тёмные земли. Не представлял — видел: низкое небо цвета старого олова, чёрные кочковые болота, среди которых торчали, как сломанные зубы, серые камни —

остатки стен, башен, всего, чему полагалось быть выше. Он видел пещеру, где лежали кости — не звериные: большие, человеческие по устройству, но слишком длинные, в обломках доспехов, — и знал, глядя на них волчьими глазами, что это место старое, старше слов «старое», и что волки приходят сюда не за мёртвыми. За запахом. Здесь пахло чем-то, что было сильнее смерти, и этот запах волки называли — насколько волк мог называть что-либо — «спящим».

Он проснулся до петухов, лежал, глядя в потолок, и повторял про себя: «спящий». Слово было не его, но теперь оно было у него, как камешек в сапоге.

Днём он проверял.

Это было похоже на то, как слепой начинает различать свет: сначала не веришь, потом боишься спугнуть, потом уже не можешь перестать. Зрение следопыта не включалось усилием — оно было всегда, вторым слоем поверх обычного взгляда. Двор дома читался как страница: где Нисса бегала утром с ведром — цепочка тёплых, светлых отпечатков; где Торвен прошёл с мешком — следы тяжелее, глубже, «звучали» иначе; где кошка лежала на завалинке — мягкое пятно, тёплое, как печёная тыква. Следы имели возраст — свежие светились ярче, вчерашние тлели, недельные были углями под золой, — и имели направление, и Варн, стоя посреди двора, видел невидимую карту всей жизни двора за последние дни, и это было прекрасно и страшно, потому что чужой жизни так не положено видеть.

Он не сказал никому. Ни матери, которая спрашивала, здоров ли он, — «что-то ты смотришь мимо людей, Варн». Ни отцу. Ни Ниссе, которая потребовала рассказать про волка «всё, как было, по-честному», и он рассказал по-честному всё, кроме последнего: света, звезды, памяти.

На третий день случилось первое «почти».

Он шёл через деревню к Гарту — отнести остаток волчьей пастилы, которую Мирра наварила от хвори, — и навстречу ему из-за угла вышла соседская собака, старый рыжий Туман, который знал Варна с щенячьего возраста и всегда тёрся о его сапог. Варн увидел его — и тело среагировало раньше мысли: колени согнулись, вес ушёл на носки, правая рука сама пошла к поясу, где не было ничего, — и в голове, чужим, холодным голосом, прозвучало: «боковой ветер, вниз по склону, перехватить у воды».

Туман тёрся о его сапог. Варн стоял над ним в полуприседе, с рукой на пустом поясе, и по спине у него текло ледяное.

«Это Туман, — сказал он себе медленно, по слогам. — Это Туман. Он лизнёт тебе руку, и ты почешешь ему ухо, как всю жизнь».

Рука дрожала, когда чесала ухо. Туман прищурился от удовольствия, ничего не заметив, — собаки не замечают того, чего не видят люди, — а Варн шёл дальше и чувствовал, как внутри, в освещённой комнате, волчье лежит у самой двери и смотрит через щель на мир его глазами. Не злое. Не доброе. Просто — волчье. Оно не понимало, что Туман —

не добыча и не угроза. Оно не понимало слова «не».

Вечером он вышел за околицу и попробовал понять, что с этим делать.

Он стоял на стерне, там же, где убил волка, — место было отмечено в его новом зрении тусклым, тёмным пятном, как пятно от пролитого вина, — и думал. В библии — он усмехнулся про себя: не в библии, в голове — не было на это правил. Была только логика: волк отдал ему всё, чем был, а всё, чем был волк, — это охота. Способность и инстинкт шли в одном узле, и развязать их он пока не умел.

«Значит, учиться», — сказал он вслух.

И стал учиться — по-своему, по-льноводски, методично и упрямо. Он ходил по краю полей и читал следы: учился отделять «вижу» от «хочу догнать». Он заставлял себя, увидев звериный след, сначала называть его словами — «заяц, утро, шёл на водопой» — и только потом позволять телу реагировать; слова были его, человеческие, и они работали как перила над пропастью. Он нашёл, что колыбельная — та, материнская, — гасит волчье быстрее всего: достаточно было начать напевать про себя, и комната внутри как бы отступала на шаг, свет в ней становился ровнее. Он не знал почему. Он записал это в голове, как записывают примету: работает — и хорошо.

На пятый день он впервые применил Зрение для дела.

Пропала коза Марты-вдовы — деревня искала её полдня, и Варн, вернувшись с тракта, услышал про это у колодца. Он

пошёл по двору Марты — и увидел: цепочка козьих следов, светлых, свежих, уходила через плетень в сторону низины, а среди них, поверх, лежали другие следы — тяжёлые, широкие, с когтями, — и от этих следов Варну стало холодно, потому что он узнал почерк. Не пепельного волка. Что-то другое, крупное, что ходило низиной там, где он собирал серебролист, и о чём тогда молчала птица с жёлтыми глазами.

Он не пошёл в низину. Он вернул козу — она стояла, загнанная, в ольховом кусте у края низины, не решаясь ни вперёд, ни назад, — и отвёл её Марте, и сказал, что нашёл у дороги. Про следы с когтями он сказал Гарту — коротко, без подробностей: «В низине ходит что-то крупное. Скотину туда не пускайте». Гарт посмотрел на него долго — так, как смотрят на человека, который говорит «что-то», а знает «что», — и кивнул, и запретил низину, и больше не спрашивал.

В ту ночь Варн снова видел разрушенный город.

Сны теперь шли по волчьим законам: он шёл по улице, и нос — не нос, чувство, которого у людей нет, — вёл его. Люди за спиной шли след в след, и он знал каждого по запаху: здесь пахло железом и усталостью, здесь — травами и страхом, здесь — молоком и домом, и этот последний запах, молоко и дом, был запах женщины, которая шла первой, и Варн понимал во сне то, чего не понимал наяву: она не просто шла. Она выслеживала вместе с ним. Она была его стая.

А фигура впереди пахла — и это было новое, страшное,

— пахла тем самым, что волки называли «спящим». Тем, что лежало под пещерами Тёмных земель. Тем, ради чего волк, может быть, и шёл через все вёрсты.

Варн проснулся с колотящимся сердцем и с ясной, как удар, мыслью: сны и Зрение — из одного места. То, что волк видел в Тёмных землях, и то, что снилось ему до всякого волка, — это одна и та же земля. Один и тот же «спящий».

Он лежал в темноте и чувствовал, как комната под сердцем наполняется — не светом даже, а весом. Туда словно одну за другой приносили вещи и складывали их; однажды их станет столько, что дверь перестанет закрываться.

«Не бойся того, что внутри», — сказал ему во сне женский голос.

— А если внутри уже не только я? — спросил Варн вслух, в тёмную комнату.

Ответа не было. Только за окном, далеко в лесу, закричал — коротко, глухо — зверь, которого в этих лесах не водилось, и Варн узнал голос, потому что слышал его во сне: низкий, редкий, как скрип горы.

Он не подошёл к окну. Он лежал, глядя в потолок, и слушал, как внутри, у двери освещённой комнаты, волчье подняло голову и повело носом — туда, в темноту, к лесу, к дальнему запаху, — и захотело.

И Варн, семнадцатилетний Мечник из Нортейна, впервые подумал о том, о чём ему предстояло думать всю оставшуюся жизнь: не «чего оно хочет», а «кто из нас двоих сейчас лежит

и смотрит в потолок».

Глава 9. Чужие взгляды

Первым заметил Торвен.

Он всегда замечал. Это было у него не умением, а устройством: сорок три года по льняным полям учат видеть то, что не совпадает с полем. Чужая борозда на твоей земле. Сорняк там, где его не сеяли. Тень там, где тени быть не должно.

Он заметил на четвёртый день после волка.

— Варн, — позвал он с гумна, не оборачиваясь и не повышая голоса. — Иди сюда. Тихо.

Варн подошёл. Торвен смотрел не на него — на дальний конец улицы, где за последним домом, у дороги на Крум, стоял человек. Стоял уже, судя по всему, давно: с утра Варн видел его дважды — у колодца, где тот «ждал напарника с телегой», и у мостков через ручей, где он «ловил рыбу» без удочки.

— Кто это? — спросил Варн.

— А ты кто? — сказал Торвен.

Варн посмотрел внимательнее — и Зрение, включённое всегда теперь вторым слоем, доложило то, чего глаз не сказал. След человека был неправильным. Он не ходил по деревне — он её обходил: круг за кругом, от колодца к околице, от околицы к дому Гарта, от дома Гарта — к их дому. И след этот был свежий — сегодняшний, вчерашний, позавчерашний: человек ходил этим кругом не первый день.

— Он ходит вокруг нашего дома, — сказал Варн. Сло-

ва вышли сами, и он успел удивиться, что сказал это вслух, прежде чем успел решить, говорить ли.

Торвен медленно повернул голову. Посмотрел на сына — так, как не смотрел никогда: снизу вверх, будто заново рассматривая.

— Откуда знаешь?

— Вижу следы, — сказал Варн. И, помолчав, добавил, потому что врать отцу было уже нельзя по другому поводу, а по этому — тем более: — Со времён волка. Я не убил его мастерством, отец. Он сам… а потом у меня внутри что-то осталось. От него. Я вижу следы. Ночью вижу. И сны теперь — не мои.

Он выговорил это одним куском, как выплёвывают застрявшую кость, и приготовился к чему угодно: к испугу, к вопросам, к тому, что отец отшатнётся.

Торвен кивнул.

— Я так и думал, — сказал он.

— …Что?

— Что ты не убил его мастерством. Я же копьё тебе дал. Я знаю, чего оно стоит. — Он снова посмотрел на дальний конец улицы. — А остальное — не моё дело. Твоё. Только запомни: раз видишь — не показывай. Ни здесь, ни где. Людям не нравится, когда на них смотрят насквозь. А тем, кто ходит кругами, — тем более.

— Кто он, отец?

— А вот этого я не знаю, — сказал Торвен. — Знаю, что

не зверолов: звероловы ходят по лесу, а не по деревне. И знаю, что он не один. — Он кивнул куда-то вбок, и Варн, проследив взглядом, увидел второго: тот сидел на завалинке дома напротив, старик, будто греющийся на солнце, — и след его, тусклый, лежалый, говорил, что сидит он там днями. — Один смотрит, другой сидит. Так не зверей стерегут. Так людей стерегут.

— Из-за испытания, — ответил Варн. Не спрашивая.

— Из-за чего-нибудь, — сказал Торвен. — Может, из-за испытания. Может, из-за волка. Может, из-за того, чего мы не знаем. — Он поднял с гумна недовязанный сноп и стал вязать, глядя в поле. — Мать спрашивать не будешь. Ниссе не скажешь. Я скажу, что это торговые люди присматриваются к льну. Это даже не враньё: присматриваются. К чему — другое дело.

Вечером Варн проверил.

Он вышел из дома через заднее окно — по-мальчишески, через сарай, как уходил в десять лет на ночную рыбалку, — и пошёл по деревне тем самым кругом, которым ходил чужак, читая следы. Следы сложились в картину, от которой у него похолодели руки.

Чужаки говорили с людьми. Не со всеми — с некоторыми: у кузнеца следы двух людей стояли друг против друга дольше, чем нужно, чтобы купить гвоздей; у дома вдовы Марты — то же; у колодца, где по утрам собиралась половина деревни, — третий разговор, длинный, неторопливый. И вез-

де, где чужак говорил, он спрашивал. Варн не мог прочитать вопросы по следам — но мог прочитать, где люди после разговора стояли молча, глядя вслед: у кузнеца — да, у Марты — да, у колодца — да.

Они спрашивали о нём. Он не знал, как узнал это — не следами, не логикой, — просто знал, как знал во сне, где стоит фигура. Они спрашивали о нём, и деревня отвечала, и деревня не понимала, о чём её спрашивают, — а он понимал.

Он вернулся домой через окно, лёг и не спал до полуночи.

Наутро он сказал Торвену только одно:

— Они говорят с людьми. Про меня.

— Знаю, — сказал Торвен. — Кузнец мне вчера сказал: «Торвен, у тебя сын-то — гляди в оба. Спрашивают — какой он, куда ходит, когда вернётся». Я говорю: хороший сын. А сам думаю: чего спрашивать-то, если хороший? Хороших не стерегут.

Он сказал это ровно, как говорил всё, но руки его, вязавшие сноп, работали в этот день медленнее обычного.

Мирра узнала на третий день — не от них, от Варна. Он не хотел говорить, но она поймала его взглядом: он дважды прошёл мимо окна, глядя на улицу, а Мирра такие вещи читала раньше Торвена. Она выслушала — молча, сжимая край стола, — и сказала потом только:

— Значит, так. Ешь, пока еда. И собирайся. В Рэйдринг тебе надо, и надо не «скоро», а послезавтра.

— Мам…

— Послезавтра, — повторила Мирра, и голос у неё был новый, которого Варн не слышал: не мягкий и не тревожный — стальной. — Понимаешь ты или не понимаешь, а я понимаю: пока ты тут, ходят они тут. Уйдёшь — уйдут за тобой. Пусть лучше за тобой, чем вокруг дома. Я не могу печь хлеб, когда под окнами стоят.

Она была права, и он знал, что она права, и от этого было только хуже.

Ниссе они ничего не сказали — все трое, сговорившись молча, — но Нисса была одиннадцатилетней, а не глупой. На второй вечер она пришла к Варну на сеновал, села рядом, как всегда, и долго молчала, что для Ниссы было вернее любого крика.

— Мне Марта сказала, что у нас торговые люди ходят, — сказала она наконец. — Про лён.

— Про лён, — подтвердил Варн.

— Марта врёт плохо, — сказала Нисса. — Она врёт, а у неё уши красные. — Она повернулась к нему, и глаза у неё были большие и сухие. — Это из-за тебя, да? Из-за испытания?

Варн мог соврать. Он соврал ей уже дважды — про золотые круги, про обморок, — и обе лжи лежали у него внутри камнями. Но врать ей сейчас, глядя в эти глаза, было выше сил.

— Да, — сказал он. — Из-за меня. Но тебе ничего не будет и нам ничего не будет. Мне просто надо уехать и поработать.

А они отстанут.

— Когда отстанут?

— Не знаю.

— А ты вернёшься к Крестчине?

— Вернусь.

— Ты уже говорил «вернусь», — сказала Нисса. — И вернулся. Ладно. — Она полезла за пазуху и достала третий пряник — Варн уже не спрашивал, откуда у неё они берутся. — Держи. Это не на дорогу. Это чтобы ты ел, когда страшно. Я слышала, что так помогает, у Марфы-прасола спросила. Она сказала: когда страшно, надо есть что-то, что помнишь с детства. Тогда помнишь, кто ты.

Варн взял пряник. Горло у него перехватило, и он не сказал ничего — только обнял сестру, и она просидела у него на плече до темноты, и ни один из них не сказал за это время ни слова, и это были самые правильные слова, которые можно было сказать.

Послезавтра он ушёл в Рэйдринг.

Провожали его трое: Мирра — на дороге, Торвен — у плетня, Нисса — бежала за телегой, пока бежалось. Чужаки в этот день не показывались, но Варн знал, что они видят: следы их были на улице свежие, утренние, и один след шёл за телегой — не рядом, а следом, вёрсту, потом оборвался у развилки.

— Пиши реже и живи дольше, — сказала Мирра.

— К Крестчине, — сказала Нисса.

— Лён сам себя не свяжет, — сказал Торвен, и это было его «возвращайся».

Варн шёл на юг и на развилке, где оборвался след, остановился и оглянулся. Нортейн лежал позади — маленький, дымный, целый. Дома. Семья. Всё, что у него было.

А впереди, за холмами, лежал Рэйдринг, и в Рэйдринге была гильдия, и задания, и деньги, и Элина — нет, Элину он ещё не знал, он знал только, что где-то там его новая жизнь, — и где-то там же, невидимая, шла за ним чужая воля, которая спрашивала о нём у кузнецов и вдов.

«Пусть лучше за тобой», — сказала мать.

Он перешёл развилку и не оглядывался больше.

А в Нортейне, у колодца, человек без удочки дождался вечера, достал из-за пазухи узкий лист бумаги, исписал его мелким ровным почерком — «класс подтверждён гильдейской записью; поведение обычное; способность не проявлял; убыл в Рэйдринг» — и отдал мальчишке-гонцу, который умчался с листом на тракт, к югу, туда же, куда ушёл Варн.

Лист шёл не в окружную канцелярию.

Лист шёл туда, где его прочтут, взвесят и положат на стол человеку, который, прочитав, улыбнулся — мягко, доброжелательно, как улыбаются хорошим новостям, — и сказал сидящему напротив Виктору:

Глава 10. Прощание

Сборы заняли один вечер, потому что собирать было почти нечего.

Котомка: две рубахи, запасные портки, онучи, плащ-рядно от дождя, огниво, нож, ложка оловянная — мамина, та самая, которой он ел с четырёх лет, — и мешок сухарей, которые Мирра сушила три дня, отбирая лучшие ломти, как отбирают приданое. Копьё Торвена. Пряник Ниссы — второй, «на обратную дорогу». Серая бумага с печатью Милдена, завёрнутая в тряпицу и зашитая в подкладку котомки, — Мирра зашила сама, не спрашивая, зачем так надёжно, и Варн не стал объяснять.

Но сборы были не главным. Главным был тот вечер — последний, — и Варн понял это только тогда, когда он начался.

Начался он с того, что Торвен не вышел на гумно.

Варн заметил это сразу, как замечают тишину в доме, где всегда скрипит половица. Отец сидел в горнице, у стола, и перед ним стояла бутыль малинового настоя — той самой, которую Мирра берегла «на особый случай» лет двенадцать, и случай всё не наступал. Торвен налил себе чуть-чуть, на два пальца, посмотрел на это и не стал пить.

— Сядь, — сказал он.

Варн сел. Мирра в сенях замерла с коромыслом — она услышала «сядь» через стену, потому что Торвен так не говорил никогда. Ниссу отправили спать за час до этого, и Варн готов был поспорить на что угодно, что она сейчас сидела за печкой и слушала, и был прав: потом он узнал, что она слышала каждое слово.

— Я не умею говорить такие вещи, — сказал Торвен. Он

сказал это не извиняясь и не жалуясь — как констатируют погоду. — Ты знаешь. Я всю жизнь не умею. Твой дед тоже не умел, и его дед. У нас в роду слова короткие, а работа длинная. Так вот.

Он поднял глаза. И Варн увидел то, чего не видел никогда: отцовские глаза были мокрые. Не заплаканные — Торвен не заплакал бы, если бы умирал, — а просто полные, до края, как полная вода в ведре, которую несут осторожно.

— Ты не спрашивай, чего я боялся все эти дни, — сказал Торвен. — Сам знаю: чужие люди у деревни ходят. Слышу от тебя же. И всё равно скажу, потому что больше некому. — Он взял бутыль, налил себе ещё на два пальца и выпил всё разом, как лекарство. — Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я хочу, чтобы ты остался, пахал, женился, и я буду хотеть этого до конца своих дней, и это ничего не значит. Потому что ты не лён, Варн. Лён я могу держать в руках. Тебя — нет. Ты у меня с самого рождения такой: смотрит туда, куда я смотреть не могу, и не вижу, чего он там видит. А теперь, выходит, и правда видит что-то. — Он усмехнулся — коротко, криво, себе. — Волк. Тёмные земли. Круг, который светится белым. Я льновод, а у меня сын — из сказки. Как с этим жить, мне никто не сказал.

— Отец…

— Дай договорить, пока идёт. — Торвен положил на стол ладонь — широкую, в старых мозолях, в трещинах от льняной олифы, которые не сходили уже двадцать лет. — Я не

отпускаю тебя с миром. Я отпускаю тебя с этим: ты — мой сын. Лучшее, что я сделал в жизни, — это ты. И я делал в жизни мало чего хорошего, кроме тебя, твоей матери и этого поля. И что бы там ни было у тебя внутри — волк, зрение, сны, чёрт в кувшине — ты помни одно: дом стоит. Дом не переедет и не сменится. Приедешь — будет так же, как было, только мы старше. Всё. Говорить кончил.

Он встал, забрал бутыль, поставил её на шкаф — обратно, «на особый случай», — и, уже уходя, обернулся в дверях, и в свете лучины лицо его было как высеченное:

— И копьё возьми. Не потому что звери. Потому что я его делал для дороги. Двадцать лет сушил древко. Думал — себе на старость возить сено. А вышло — тебе.

Он ушёл спать, тяжело ступая, и Варн сидел один в горнице и не мог пошевелиться. Внутри, в освещённой комнате, волчье лежало тихо-тихо — оно чувствовало, что сейчас не его время, — а Варн думал о том, что отец только что сказал больше слов, чем за последние пять лет, и все эти слова были про одно: «я тебя люблю, и я не умею этого говорить, поэтому говорю всё остальное».

Мирра вошла, когда лучина уже догорала. Она не спросила, о чём говорил отец — она всё слышала, — она просто села рядом, взяла его руку, свою оловянную ложку положила ему в ладонь и закрыла пальцы.

— Она с тобой поедет, — сказала она. — Ложка. Не спорь. Ты ею ел, когда был вот такой, — она показала руками раз-

мер котёнка, — и если ты в Рэйдринге будешь есть ею хоть раз в неделю, ты будешь помнить, чей ты. Это старое средство. Все матери так делают, просто не все признаются.

— Мам, ты же говорила — пиши реже.

— Писать реже. Ложку взять. Это разные вещи, — сказала Мирра с непререкаемой логикой матерей, и Варн засмеялся, и она тоже, и они сидели вдвоём в догорающем свете, и он положил голову ей на плечо, как в пять лет, и она позволила, и это были последние пять минут его детства — он потом понимал это точно, до дня: вот здесь, на этой лавке, детство кончилось. Не в храме. Не с волком. Здесь.

А перед самым сном, когда он уже гасил лучину, Мирра сказала — тихо, в спину, как говорят самое трудное:

— Ты мне лучше пиши реже и живи дольше. Чем чаще пишешь, тем хуже думают.

Он обернулся. Она стояла у печи, маленькая, седеющая, с руками, которые всю жизнь пекли, штопали и лечили, и смотрела на него так, что он понял: она знает. Не всё — но знает, что «обморок» был не обмороком, что чужие люди у деревни — не про лён, и что сын её уезжает не в гильдию, а в войну, о которой ей не рассказали. Матери не узнают таких вещей — они их чувствуют, как чувствуют грозу по ломоте в старых костях.

— Мам, я вернусь, — сказал он.

— Знаю, — сказала Мирра. — Иди спать. Утром хлеб ещё тёплый будет, возьмёшь.

Утром он уходил на рассвете, и провожали его трое.

Мирра — на дороге, до первой излучины, как договаривались молча ещё вечером: в прошлый раз она вышла только к дороге, а в этот решила пройти с ним дальше. Она шла, держа его под руку, как ведут не сына, а гостя, которого хотят удержать подольше, и молчала, и молчание её было полным — как полная вода, которую несут осторожно, — а у излучины она остановилась, перекрестила его — хотя церковь в Нортейне стояла заколоченная двадцать лет, — и вдруг, быстро, пока не задохнулась, запела.

Колыбельную.

Ту самую, из самого раннего, из того, что он не помнил, а тело помнило: про лён, про журавлей, про то, что «спи, мой, а я побуду рядом, пока заря не сойдётся с днём». Голос у неё дрожал на втором слове и выровнялся на третьем, и она пела тихо, для него одного, стоя на дороге, по которой уходили из деревни все, кого деревня отпускала, — и Варн стоял и слушал, и запоминал не слова — он их знал, — а то, как звучит голос матери на рассвете, когда она поёт сыну в последний раз перед его большой жизнью.

Он ещё не понимал, что этот голос спасёт ему жизнь. И не однажды. Что в самые тёмные часы, когда чужие инстинкты будут поднимать голову и граница между Варном и тем, что внутри, истончится до паутинки, — именно эта мелодия, четыре ноты, спетая на излучине в тумане, будет тем, что вернёт его домой изнутри самого себя. Он слушал и запоминал.

В эту минуту больше ничего не требовалось.

Торвен не пошёл на дорогу. Он стоял у плетня, по-хозяйски, с недовязанным снопом в руках — и это было правильно, это было по-отцовски: не провожать, а остаться на работе, чтобы сын, оглядываясь, видел не слёзы, а дом, который стоит и ждёт. Когда Варн поравнялся с плетнём, Торвен кивнул ему — один раз, коротко, как кладут печать, — и сказал через плетень, обычным голосом, про лён и про погоду, и только в самом конце, уже вслед, уже в спину, опустив сноп:

— К Крестчине, Варн.

Не «приезжай». Не «будь здоров». Просто: «К Крестчине». Как приказ. Как обещание, которое он взял с сына и которое теперь держал сам, обеими руками, вместе со снопом.

А Нисса бежала за телегой.

Она прибежала провожать ещё затемно, хотя он просил не вставать, — прибежала босиком, в одном платье поверх рубахи, с заплетёнными наспех косами, и теперь бежала по стерне за телегой, пока бежалось, и кричала сквозь ветер:

— Семьдесят два дня! Я записала! У меня уголь, я каждый день чёрточку ставить буду!

— Обещал! — кричал Варн в ответ. — К Крестчине!

— Семьдесят два!

Телега вырвалась на спуск, и Нисса осталась позади — маленькая, босая, с рукой, поднятой над головой, всё ещё машущей, и машущей, и машущей, пока дорога не завернула за холм. Варн смотрел на неё через плечо возницы до по-

следнего мгновения и запомнил её так навсегда: босую, на рассвете, с поднятой рукой. Он не знал, что этот образ — девочка на стерне, машущая вслед, — он потом увидит ещё раз, в чужой памяти, в чужой голове, когда всё его будет уже забрано, и что именно эта картинка, а не что-либо другое, заставит того, кто её увидит, впервые за двести пятьдесят девять лет почувствовать что-то, чему он не знал названия.

Потом холм закрыл Нортейн.

Варн повернулся вперёд. Котомка оттягивала плечи — в ней лежали две рубахи, сухари, оловянная ложка, зашитая бумага и три пряника, из которых один был «чтобы есть, когда страшно». Копьё лежало поперёк колен. Хлеб, завёрнутый в платок, ещё хранил тепло материнской печи.

Он шёл на юг, в Рэйдринг, в свою новую жизнь, и позади него, уменьшаясь с каждым шагом, стоял дом — весь, целый, с дымом над трубой, с отцом у плетня, с матерью на излучине, с сестрой на холме.

Он не оглядывался больше. Оглядываться было нельзя: он знал, что если оглянется ещё раз, то не уедет вовсе, а не уехать он не мог — не потому, что хотел, а потому, что теперь, с волком внутри и чужими глазами за спиной, оставаться в Нортейне значило принести беду туда, где его не было.

«Пусть лучше за тобой», — сказала мать.

Он шёл и шёл, и к полудню деревня скрылась совсем, и осталась только дорога — длинная, наезженная, уходящая за холмы, — и колыбельная, которая шла с ним, спрятанная

под рёбрами, рядом с волком, в тёмной комнате, где теперь жило всё его: четыре ноты, три пряника, оловянная ложка и семьдесят два дня до Крестчины.

И где-то очень далеко, там, где разрушенные города ждут своих последних защитников, огромная фигура из сна — он был в этом уверен, хотя не смог бы объяснить почему — сделала ещё один шаг навстречу.

Медленный. Как всё, что было у неё впереди.

Глава 11. Дорога

Варн покинул Рэйдринг через два дня после возвращения из Нортейна — с лёгким кошельком и тяжёлой головой.

Деньги за серебролист он отослал домой с попутным возом — почти все, оставив себе на еду и ночлег, — и возничий, суровый старик с бородой в овсяных репьях, взял мешок, записал в книжечку: «Торвену, Нортейн, от сына» — и сказал единственную фразу за всю дорогу: «Деньги до денег дойдут, а ты до Крестчины не дойди, если ноги кончаются». Варн запомнил и это: в мире, где он теперь жил, даже суровость была практичной и шла в комплекте с заботой.

А голова была тяжёлая оттого, что он не знал, ушли ли чужаки из деревни. Он не мог узнать — письма шли долго, а возвращаться через неделю после отъезда значило признать, что он бежит. Он решил: работать. Работать так, чтобы к Крестчине приехать с деньгами, с рангом, с историями — и чтобы «Мечник» стал правдой хотя бы наполовину.

Задание, которое он взял на этот раз, было длинное: до-

ставить документы гильдии в Клэнтон — маленькое поселение южнее Рэйдринга, — задержаться там на три дня, ожидая ответной почты, и вернуться. Плата была скромная, но путь лежал через леса, о которых в гильдии говорили: «тихие, но глухие», — и Варну хотелось проверить себя вдали от трактов. Проверить — и Зрение, и себя.

Первый день дороги был лёгким и почти счастливым.

Лес стоял высокий, сосновый, просвеченный насквозь низким октябрьским солнцем, и идти под ним было как идти по огромному собору, у которого вместо окон — просветы в стволах. Зрение работало ровно, без напряжения: следы на тропе читались как вывески, — заяц, лисица, старый кабан, неделю назад, — и ни один след не был чужим, ни один не заставлял волчье поднимать голову у двери. Варн шёл и напевал про себя материнскую колыбельную — он заметил, что в лесу делает это неосознанно, — и волчье лежало тихо, как пёс у ног хозяина.

К вечеру лес стал меняться. Сосны поредели, между ними полез ольшаник, под ногами пошла мокрая чернь, и запах смолы сменился запахом прелой листвы и стоячей воды. Варн остановился на пригорке, посмотрел — и понял, что тропа, по которой он шёл весь день, кончается. Впереди лежала низина. Другая, не та, что у Нортейна, — но низина, и всё, что Варн знал о низинах, теперь имело вес.

Он пошёл вдоль края, выбирая сухое, и к сумеркам нашёл то, что искал: старую охотничью землянку, вырытую, видно,

десятилетия назад, с обвалившимся входом, который легко было поднять. Он расчистил вход, развёл перед ним маленький костёр — не в землянке, снаружи, чтобы дым уходил в кроны, — поел сухарей с салом и лёг у огня, глядя в темнеющие ольхи.

Сон настиг его сразу, без перехода.

Разрушенный город стоял на месте — но впервые Варн видел его не улицей. Он видел его сверху, как видят с холма, и от этого город вдруг получил размер: он был огромен. Не город — страна руин, стены тянулись до горизонта, и среди них, как острова, стояли уцелевшие башни, чёрные от времени. И по этому городу — Варн видел ясно, впервые без тумана, — шли войска. Не за ним. Мимо него, под ним, вокруг: колонны людей в доспехах, которых он не знал, со знамёнами, которых не знал, шли через руины на юг — туда, где за горизонтом лежала земля, и земля эта была знакомой. Он узнал её раньше, чем понял, что узнал: льняные поля. Голубые цветы. Его земля.

Войска шли на его землю.

Он хотел закричать — и не мог, как не кричат во сне, — и тогда женщина, которая всегда шла первой, повернулась к нему, и лицо её было ясно, как никогда, — молодое, усталое, с глубокими тенями под глазами, — и она сказала. Впервые не беззвучно. Впервые словами, которые он расслышал:

— Ты ещё не готов.

И проснулся.

Костёр догорал. Над ольшаником стояла ночь, густая и безлунная, и Варн лежал, глядя в угли, и повторял про себя слова, которые наконец услышал: «Ты ещё не готов». Не «беги». Не «спасай». Не «иди за мной». А именно: «Ты ещё не готов».

Он не знал, готов ли он к чему. Он знал только, что впервые за все месяцы сон сказал ему что-то, что можно было понять, — и от этого стало не легче, а страшнее, потому что сны, которые ничего не говорят, бывают просто снами. А сны, которые говорят, бывают предупреждениями.

Он подбросил в костёр веток и не спал до серых часов, а когда задремал — сна не было, только темнота, и это было милосердно.

Утром, выходя из низины, он увидел следы.

Они лежали на тропе впереди — свежие, ночные, — и Варн остановился в десяти шагах, не дыша. Следы были звериные, крупные, но не волчьи, не кабаньи, не медвежьи — не похожие ни на какие из тех, что он знал по книгам гильдии. Широкие, с длинными пальцами, отпечатавшиеся глубоко — зверь весил больше быка, — и шли они не вдоль тропы, как ходят звери, а поперёк её, один раз, ночью, из леса в лес. Пересекли дорогу и ушли. Как уходят те, кому дорога не нужна.

Варн стоял и читал следы, и Зрение докладывало всё, что могло: возраст — часов восемь, не больше; направление — с северо-востока, из глубины лесов, на юго-запад; походка

— ровная, без скачков, зверь шёл спокойно, не охотясь и не спасаясь. Просто шёл. Через мир людей — по-своему, как шёл пепельный волк через льняные поля.

«Они уходят из Тёмных земель, — подумал Варн, и мысль была холодная и ясная. — Не этот — тот шёл ко мне. А они — все — уходят оттуда. Куда-то. Почему?»

Он не знал. Он зарисовал след углём на обороте гильдейского листа — как учили в гильдии записывать всё необычное, — и пошёл дальше, и весь день до Клэнтона оглядывался чаще, чем нужно.

А за тридцать вёрст от него, в Рэйдринге, в задней комнате гильдии, куда пускали не всех, Виктор читал утренние сводки и отмечал тонким карандашом на полях две строки. Одну — про звериные следы у южных трактов, о которых писали лесничие. Вторую — про железного ранга Мечника из Милдена, который за месяц сдал четыре задания без единой жалобы и, по словам писаря, «смотрит на людей так, будто читает».

Виктор посмотрел на обе строки долго. Потом соединил их взглядом — не логикой, а чутьём, которое заменяло ему логику, — и написал внизу листа, мелким ровным почерком:

«Свести. Наблюдение продолжить. О докладе — после Клэнтонской почты».

Он ещё не знал, что Клэнтонская почта уже идёт ему навстречу — вместе с Варном.

Глава 12. Приключенцы

Клэнтон оказался деревней, которая притворялась посёлком.

То есть формально он был посёлком: у него была площадь, ратуша с жестяным флюгером и даже каменная церковка с колокольней размером с хорошую печную трубу. Но Варн, проживший семнадцать лет в Нортейне, отличал деревню от города не по ратуше — по тому, как пахло на улице. В Клэнтоне пахло сеном, дрожжами и мокрой шерстью, и это было почти как дома.

Почту он сдал в ратушу — сухому человеку с чернильными пальцами, который расписался в трёх местах и сказал: «Ответ будет через два дня, не раньше. Ждите». Ждать было нечего и не у кого, и Варн, сняв комнату у вдовы с постоялого двора за медяк, решил провести три дня с пользой: обойти окрестности, прочитать лес вокруг чужого поселения и узнать, что здесь за зверь ходит — тот, с длинными пальцами, или другой.

Он узнал на второй день — от мальчишек.

Они сидели на плетне у дороги и смотрели, как Варн возвращается из леса, и один, самый дерзкий, с волосами цвета ржаного хлеба, крикнул:

— Эй, гильдейский! Ты за Серым ходил?

— За кем?

— За Серым! — мальчишка поднял руки, показывая размер — от земли до уровня своего подбородка. — Он тут хо-

дит. Весь лес обошёл. Коз утащил у Хольгера, овцу у мельника. Отец говорит, его никто не бил ещё, потому что он умный.

— Умный?

— Умный, — подтвердил мальчишка с гордостью, словно лично знал этого зверя. — В капканы не идёт. Яды не берёт. Дважды на одну тропу не выходит. Дядька Лорен говорит — он думает, как человек.

Второй мальчишка, помладше, дёрнул первого за рукав и зашептал ему что-то в ухо, и первый поморщился, но сказал:

— А ещё говорят, за ним из Рэйдринга искатели приехали. Трое. Серебряные. Они его за сто марок взяли — мёртвым или живым, всё равно.

— Где они?

— На постоялом дворе, — мальчишка махнул рукой. — Вчерась приехали. Сегодня в лес ушли.

Варн поблагодарил и пошёл к себе, и по дороге думал о том, что «умный, как человек» — это худшее, что можно услышать про зверя, по которому ходят с капканами. Умный зверь не берёт вторую овцу у той же деревни. Умный зверь берёт третью — у соседней.

Серебряных искателей он увидел в тот же вечер.

Их было трое, как сказал мальчишка, и они вернулись с леса к сумеркам — грязные, злые и с пустыми руками. Варн видел их со стороны двора постоялого двора, где сам колол дрова за скидку на ночлег, и видел, как они вошли в общий

зал, как сели у очага и как заказали — не ужин, а вино, сразу три кувшина. Это было плохо. Так заказывают не уставшие люди. Так заказывают разозлённые.

Он не собирался с ними знакомиться. Они сами познакомились — точнее, один из них, здоровяк с выбритым черепом, заметив на поясе Варна железную пластину, хмыкнул так, что слышно было через зал:

— Гильдия железки теперь прямо с колыбели выдаёт?

Варн продолжил колоть дрова. Здоровяк вышел на двор — за ним, покачиваясь, вышли двое его товарищей, — и встал так, чтобы Варн был между ним и поленницей.

— Я спросил, деревенщина. Железка — с колыбели?

— Я взял задание, сдал задание, получил пластину, — сказал Варн ровно. — Как положено.

— Как положено, — передразнил здоровяк. Он был пьян уже наполовину, и пьяная злость его была не на Варна — она была на Серого, который весь день водил их за нос, — но доставалось ближнему. — А ты знаешь, что мы третий день по его дерьму ходим? Серебряный ранг, три человека, сто марок — и мы ходим по дерьму, а железка колет дрова. Может, тебе Серого отдать? Ты, гляжу, мастер: дрова колоть.

— Полен, — сказал второй, помоложе, с усталым лицом. — Не трогай парня.

— А что я? Я ничего. Я спросил. — Здоровяк шагнул ближе, и от него пахло вином и зверем — тем самым, лесным, многодневным. — Ты вообще откуда, железка? Из какой ды-

ры?

— Из Нортейна, — сказал Варн.

Он не хотел драки — и не потому, что боялся. Он смотрел на здоровяка и видел — Зрением, вторым слоем, — то, чего не видели пьяные товарищи: что руки у здоровяка в старых шрамах, что стойка у него бойцовская, что он держит вес на задней ноге, как держат те, кто бил и был бит сотни раз. Этот человек был вдесятеро опаснее пепельного волка — потому что умел убивать не в ярости, а по ремеслу.

— Нортейн, — протянул здоровяк. — Не знаю такого. Дай угадаю: три дома и колодец?

— Четыре дома, — сказал Варн. — И два колодца.

Тот, помоложе, фыркнул — и смех, злой до этого, стал вдруг обычным, человеческим. Здоровяк обернулся на него, на Варна, махнул рукой:

— Ладно. Коли дрова, железка. — И, уже уходя, бросил через плечо: — А Серого не трогай. Он не для железок.

Они ушли в зал. Варн вернулся к дровам и колол их ещё час, и всё это время думал не о здоровяке — о слове «не для железок». Оно было сказано без злобы, как говорят о погоде, и в этом была вся правда его нового мира, сказанная пьяным человеком на дворе: у каждого ранга — свои звери, свои смерти и свои права на них. Железкам — дрова и письма. Серебру — Серые. А тем, кто выше, — то, о чём железкам даже не рассказывают.

На третий день, сдав ответную почту, он выехал из Клэн-

тона — и через четыре версты услышал выстрел.

Не охотничий — охотничий выстрел он знал: короткий, сухой. Это был залп — три выстрела разом, — и за ним, через полсекунды, рёв. Не волчий, не медвежий — рёв, от которого у Варна, у самого, внутри, что-то дрогнуло и легло, как ложится зверь, слыша старшего.

Он сошёл с дороги. Зрение сказало: следы — влево, в ольшаник, свежие, много ног, человеческих, бегут; и поверх них — те самые, широкие, с длинными пальцами, идут ровно, не спеша, туда же.

Серый шёл к своим преследователям. Не убегал — шёл.

Варн стоял на краю дороги и выбирал — и выбирал недолго, потому что выбора не было: там, в ольшанике, были люди, и люди эти, как бы он их ни презирал за вино и дерьмо, были живые, и рёв приближался к ним.

Он побежал.

Ольшаник встретил его криками. Он выскочил на поляну — и первые секунды не понимал, что видит, потому что картина не складывалась: трое серебряных искателей стояли спиной к спине посреди поляны, у них было три арбалета, из которых один был перезаряжен, и на них — нет, не на них, мимо них, вокруг них — шёл Серый.

Варн впервые увидел его целиком и понял, почему мальчишка показал руками до подбородка и ошибся: зверь был выше. Метра два с четвертью, не меньше, серый — не цветом, а самим существом: шерсть на нём была как пепел, осев-

ший после пожара, и сквозь неё проступали мышцы, ходившие под кожей, как корни под землёй. Голова была не волчья и не медвежья — длинная, плоская, с глазами, которые не блестели, как у зверей, а смотрели. Тёмно. Спокойно. С интересом.

Он не атаковал. Он обходил их — круг за кругом, сужая круг, — и каждый раз, когда кто-то из искателей поворачивался за ним, второй его бок оказывался открыт, и он это знал, и они это знали, и никто не решался первым сделать то, что решало всё.

— Стреляй! — хрипел здоровяк тому, с перезаряженным арбалетом. — Стреляй, пока он…

— Не дёргайся! — огрызался тот. — Он на движение идёт, ты не видишь?..

Варн увидел. Зрение разложило поляну на слои, и в слоях было видно то, чего не видели они: следы Серого на поляне — старые, вчерашние, позавчерашние — складывались в узор. Зверь ходил здесь не сегодня. Он ходил здесь неделю. Он выбрал эту поляну — выбрал её, как выбирают ловушку, — и теперь загонял их в её центр, туда, где следы сходились, как спицы в колесо.

А в центре поляны, под слоем прелой листвы, Зрение показывало яму.

— Яма! — крикнул Варн, и голос его сорвался на первой фразе, и он прокричал громче, с края поляны: — Под вами яма! Он гонит вас на яму!

Трое обернулись на него — и Серый, воспользовавшись этой секундой, которой они не имели права ему давать, атаковал.

Дальше всё произошло быстро и плохо. Арбалет выстрелил — болт ударил зверя в плечо и отскочил, как от каменной стены, оставив на пепельной шерсти белую царапину. Здоровяк бросил арбалет и встретил зверя алебардой — и Варн, который ждал, что его сметут, увидел ремесло: здоровяк не рубил, он держал, отступая по кругу, остриём вперёд, не давая зверю зайти за древко. Второй — тот, помоложе, — оттащил третьего, раненного в ногу, к дереву. Всё это было грамотно. Всё это было напрасно: Серый не собирался их убивать. Он гнал их — туда, куда гнал, — и яма была в десяти шагах от пяток здоровяка, и здоровяк отступал ровно на неё, и Варн видел это, а здоровяк нет.

Варн сделал то единственное, что умел.

Он схватил с земли валежину — тяжёлую, в руку, — и с размаху, изо всех сил, метнул её не в зверя — в ольху за поляной, вбок, куда зверь не смотрел. Дерево глухо стукнуло. Серый — умный, как человек, — дёрнулся на звук, голова его повернулась на мгновение в сторону, и этой секунды здоровяку хватило: он шагнул вбок, яма осталась за его спиной, и он, не понимая ещё, что спасён, рванул вперёд и всадил остриё алебарды зверю под ключицу — туда, где царапина от болта показывала, что шкура не камень.

Рёв на этот раз был настоящий. Серый отшатнулся, кровь

— тёмная, почти чёрная — пошла по пепельной шерсти, и зверь посмотрел на людей — долго, тёмными спокойными глазами, — и ушёл. Не убежал. Ушёл, в ольшаник, ровным шагом, оставляя за собой чёрные капли, и след его через двадцать шагов потерялся для Варнова Зрения — просто оборвался, как обрывается письмо на полуслове.

На поляне стало тихо.

— …Кто ты такой? — сказал здоровяк. Он стоял, опираясь на алебарду, и дрожал — не от страха, от отпущенного адреналина, — и смотрел на Варна, который стоял у края поляны с пустыми руками. — Железка?

— Железка, — сказал Варн.

— Ты меня спас, — сказал здоровяк. Он не спрашивал — утверждал, и в его голосе это звучало почти как оскорбление, потому что серебряному не положено спасаться железными. — Метнул палку в лес. В лес, понимаешь? Я думал, ты дурак. А он повернулся.

— Он умный, — сказал Варн. — Умные оборачиваются на звук.

Здоровяк посмотрел на него — по-новому, без пьяной злости, — и вдруг заржал, коротко, тяжело, как ржут раненые:

— Умные оборачиваются. Слышал, Полен? Он нам сейчас науку читает.

— Слышал, — сказал тот, помоложе, Полен. Он перевязывал ногу третьему и смотрел на Варна тоже по-новому. —

И скажу тебе, Гром: парень видел яму за сто шагов сквозь листву. Я её стоя не видел.

Стало тихо. Гром смотрел на Варна, и Варн смотрел на Грома, и оба понимали, что сейчас прозвучит вопрос, которого Варн боялся с самого храма.

— Как ты её видел? — спросил Гром.

— Повезло, — сказал Варн. — Свет падал.

— Свет, — повторил Гром. — Падал.

Он не поверил. Варн видел, что не поверил, — и видел, что Гром не станет давить: серебряные не допрашивают железных, это ниже их достоинства, но запомнят. И Полен запомнит. И раненый, которого звали, кажется, Тиль, поднимет голову и тоже запомнит.

— Ладно, железка, — сказал Гром наконец. Он вытащил из-за пазухи кошель, отсчитал — не глядя, на ощупь, — и бросил Варну. Тот поймал. — Это за яму. Не за спасение — за яму. Спасение я тебе не оплачу, потому что тогда получится, что серебро не смогло, а железо смогло, и мне придётся это кому-то рассказать. А я не расскажу. И ты не рассказывай.

— Не расскажу, — сказал Варн.

— Вот и хорошо. — Гром поднял алебарду на плечо и пошёл к дороге, волоча вместе с Поленом Тиля под руки. На краю поляны он обернулся. — Серый вернётся. Он ранен, а раненые умные звери делают одну из двух вещей: мстят или уходят совсем. Этот — не уйдёт. Так что передай своим в

Клэнтоне: капканы снять. Он на них уже смотрел.

Они ушли. Варн стоял на поляне, разжимая пальцы, которые держали монеты — слишком много монет, — и смотрел на чёрные капли на прелой листве.

Он сделал всё правильно. Он спас трёх людей, не раскрыв себя, не применив ничего, что нельзя объяснить, — метнул палку, как метнул бы любой сильный парень с фермы. Он даже получил за это деньги, как получают за работу.

Так почему же внутри, в освещённой комнате, волчье лежало у двери и смотрело на чёрные капли с такой тоской, с какой смотрят на упущенную добычу?

— Ты не для того, — сказал Варн тихо, в темноту ольшаника, туда, куда ушёл Серый. — Слышишь? Не для того.

Комната молчала. Но где-то очень глубоко, под её полом, под всеми её полами, что-то — то самое, из храма, из снов, из Тёмных земель, — повернулось во сне, как поворачивается гора, и Варн впервые за все недели понял простую вещь, от которой у него похолодели руки:

волк был первым. Волк был не последним. И каждый следующий будет сильнее — и каждый следующий принесёт не только способность.

Он поднял узел и пошёл на Рэйдринг — быстро, пока светло, — и всю дорогу до самого города напевал про себя материнскую колыбельную, и не мог вспомнить, зачем, и не переставал.

Глава 13. Рэйдринг

Рэйдринг снова показался Варну за полдня до того, как он вошёл в него. Он уже бывал здесь — успел зарегистрироваться в гильдии и сходить на первое задание, — но тогда город пролетел мимо него дорогой туда и обратно. Теперь он возвращался после встречи с волком и впервые мог смотреть по сторонам, не думая только о том, как скорее добраться до дома.

то, что в прошлый раз он не успел разглядеть: крыши.

— Сорок пять тысяч душ, — сказал возница, поравнявшись с ним. Варн нанялся к нему на утро — торговцу зерном, который гонял порожнюю телегу в город за новым грузом и брал попутчиков за то, что те помогали на подъёмах. — А по осени, на ярмарку, и все сто. Гляди, парень, гляди. В прошлый раз, небось, только по делам сходил и обратно. А теперь посмотри как следует: город не открывается тем, кто всё время торопится.

Варн глядел. Он не мог наглядеться, и не пытался себя заставить.

Дорога внизу, у самых ворот, собиралась в реку. Варн видел её сверху — и Зрение, работавшее теперь всегда, вторым слоем, показывало ему то, чего не показывал глаз: дорога светилась. Не вся — следами, которые шли по ней плотным потоком, свежими, вчерашними, недельными, наслаивающиеся друг на друга, пока не сливались в сплошное тёплое русло, как сливаются следы на тропе к водопою. Сорок

пять тысяч человек оставляли следы каждый день, и все эти следы текли сюда, к воротам, и уходили за стены, и там, за стенами, следы уже нельзя было разделить — они лежали слоями, веками, и Зрение Варна, впервые глядя на такое, замирало, как замирает человек, вышедший из тени на солнце.

— Больно глазам? — спросил возница. Он заметил, как Варн щурится.

— Просто много всего, — сказал Варн.

Это было правдой — и не всей правдой, но он уже умел держать такие вещи при себе.

У ворот стояла очередь — длиннее милденской в десять раз, и она двигалась, и это было самое поразительное: очередь из сотен телег, подвод, верховых, пешеходов двигалась быстро, без крика и давки, как двигается вода в канале. Стражников было много — синие куртки, копья, у ворот — вторая линия, в чёрном, с повязками на рукавах. Варн не знал, что это городская, а не гильдейская стража, и долго потом путал их. У каждой телеги стражник тратил не больше минуты: взгляд, вопрос, иногда — заглянуть под рогожу.

— Зерно, — сказал возница стражнику. — Порожняком. А это попутчик, в гильдию.

Стражник посмотрел на Варна — на копьё, на котомку, на железную пластину на поясе — и махнул рукой. Варн прошёл под воротами, под сводом, который был холодным, как погреб, и пах камнем, голубями и веками, — и вышел с другой стороны.

И город обрушился на него.

Он был готов. Он думал, что готов: Милден научил его толпе, шуму, камню под ногами. Рэйдринг не сравнивался ни с чем. Шум был не звуком — он был средой, в которой приходилось жить, как в воде: грохот колёс по брусчатке, перекликающиеся крики грузчиков, звон из кузниц, лай собак, торговка, выкрикивающая цену на рыбу, удары колокола, где-то отбивающего полдень, второй колокол, сбивающийся с первым, скрип ворота колодца, смех, ругань, песня из трактира — всё сразу, вперемешку, без пауз. Запахи шли слоями, как в низине у Нортейна, только слоёв было двадцать: конский пот и свежий навоз у самых ворот; дальше — рыба, солёная и живая; хлеб, горячий, из подземной печи, чей дым шёл из решётки в мостовой; краски и олифа; вино; железо; парфюм — тонкий, чужой, от которого волчье внутри Варна морщило нос; и под всем этим, глубоко, — запах большого скопления людей, тёплый, живой, немного страшный, как запах зимнего хлева.

Варн шёл и не мог идти быстро — не потому, что мешали, а потому, что каждый шаг давал больше, чем он мог взять.

— Не задирай голову, — сказал возница на прощание, сворачивая к зерновым амбарам. — Голову задирают воры: ищут, у кого кошель на виду. Смотри прямо, ходи ровно, и ты здесь свой через неделю. А через месяц не захочешь уезжать.

Он ошибся в последнем. Варн не знал этого ещё, но через

месяц он будет стоять ночью у окна и смотреть в темноту, думая о льняных полях, и никакой город этого не заменит.

Первым делом был трактир.

Варн нашёл его не сразу — по совету писаря из гильдии, который на его вопрос «где ночевать дёшево и чтобы не обманули» сказал: «У Марты, на Кожевенной, второй двор от угла. Скажи, что от писаря Гроба». — «Гроб — это имя?» — «Это прозвище. Он похож». Марта оказалась вдовой лет пятидесяти, широкой, с руками, которые могли поднять чан, и взглядом, который взвешивал постояльца за три секунды. На Варна хватило двух.

— От Гроба, значит. Железка? — Она кивнула на пластину. — Комната — медяк за ночь, ужин — два, стирка — один. Воровать у меня нечего, но дверь запирай. И с крыши не свисти: у меня наверху швея живёт, она работает, а не развлекается.

Комната была под самой крышей — маленькая, с покосившимся окном, из которого были видны кусок чужой крыши и полоска неба между трубами. Варн вошёл, положил котомку на кровать, сел рядом и долго сидел не двигаясь.

Он был в Рэйдринге. Он сделал это: деревня, храм, волк, дорога — и вот он, один, в городе, где сорок пять тысяч душ, и никто из них не знает его имени, и никто не спросит про белый свет, и никто не смотрит кругами вокруг дома его отца.

Это было свободой. Он чувствовал её, как чувствуют

сквозняк — по затылку.

И это было одиночеством, и оно было того же размера.

Гильдию он нашёл на второй день — и второй день этот научил его городу быстрее, чем научил бы месяц.

Он вышел утром, намереваясь спросить дорогу, и понял через квартал, что спрашивать бесполезно: ему отвечали — охотно, подробно, — и каждый ответ отправлял его в другую сторону, потому что улицы Рэйдринга не шли прямо. Они шли кольцами, о них говорили «верхнее кольцо», «среднее», «нижнее», и Варн, выросший среди прямых полевых дорог, сначала терялся, а потом — к полудню — понял систему, и понял с восторгом: город был устроен как лабиринт, у которого есть логика. Верхнее кольцо — богатое: каменные дома в три-четыре этажа, чистые улицы, свои стражники, витрины, за которыми лежали вещи, о существовании которых Варн не подозревал. Среднее — ремесленное: мастерские, лавки, дома попроще, но крепкие, и везде работа — стук, звон, запах стружки и кожи. Нижнее, у стены, — то, о чём в Нортейне сказали бы «не ходи туда»: узкие улицы, которые никогда не видели солнца целиком, дома, приставленные друг к другу, как пьяные, и люди, которые стояли у стен и смотрели на прохожих так, как смотрит волчье внутри Варна — оценивая.

В нижнем кольце Варн оказался не нарочно: он срезал по совету мальчишки-носильщика и вышел из переулка на широкую улицу, и сразу понял, что попал не туда, — по тому,

как изменились взгляды. В верхнем кольце на него не смотрели вовсе. В среднем смотрели с любопытством. Здесь — смотрели с расчётом, и Зрение, вторым слоем, читало это безошибочно: трое у стены — следы их были лежалые, они стояли здесь часами, — повернули головы синхронно, как поворачивают головы стаи, заслышав шаг. Варн прошёл через улицу ровным шагом, не ускоряясь — он знал теперь, что ускорение — это признание, — и вышел из нижнего кольца на среднее, и только там позволил себе выдохнуть.

— Снова в городе? — спросил кто-то.

У лавки, у которой Варн остановился перевести дух, сидел старик — сапожник, судя по всему: колодки, шило, кожа. Он смотрел на Варна с весёлым сочувствием человека, который такие лица видит каждый день.

— Уже бывал, — признался Варн. — Но тогда почти не успел рассмотреть город.

— Значит, город ты ещё не видел. — Сапожник хмыкнул. — Внизу бывают два вида приезжих: те, кто не знает, и те, кто знает, но им надо. Ты пока первый вид. Запомни правило, парень: в Рэйдринге вниз спускаться легко, вверх подниматься дорого. Это про улицы и про всё остальное тоже. — Он вернулся к работе, потом добавил, не поднимая головы: — Гильдию ищешь? Все железки ищут гильдию. По среднему кольцу до Соколиной башни, там увидишь вымпел — серебряный меч на синем. Не перепутай с трактиром «Серебряный меч» — он рядом, и там тоже серебряный меч, но там

тебя напоят и обчистят, а там тебя запишут и отправят умирать. Выбирай.

Гильдия в Рэйдринге была такой же огромной, какой Варн запомнил её с первого приезда, но теперь он не остановился у входа. Он уже знал, куда идти, где искать доску заданий и к кому обращаться.

В главном зале было шумно, тепло и тесно. Сотни искателей двигались между стойкой, доской заданий и тренировочными дворами; теперь этот гул не ошеломлял Варна, а казался частью знакомого порядка.

Женщина за стойкой подняла глаза и узнала его раньше, чем он успел назвать имя.

— Мечник из Нортейна. Вернулся.

— Да. Хочу сдать отчёт и взять новое задание.

Она нашла его запись в книге, сверила железную пластину и поставила короткую отметку.

— Регистрация в порядке. Ранг прежний. Отчёт по прошлому заданию?

— Сдам после. Сначала хочу посмотреть доску.

— Белые листки — для железных. Правила ты знаешь.

Варн кивнул. Теперь он знал не только правила, но и цену каждого слова, произнесённого у этой стойки.

Он прошёл к доске заданий и стал выбирать.

Новое задание Варн взял в тот же день.

Оно было скучным и правильным: сопроводить почтовый воз до Клэнтона и обратно по тому самому тракту, по кото-

рому он уже ходил. Плата была скромной, риск — низким, срок — пять дней. Он взял его не за деньги. Он взял его, потому что хотел вернуться на ту дорогу, где видел следы с длинными пальцами, и посмотреть, что стало со следами Серого за прошедшее время. Это было не задание гильдии. Это было его собственное, тайное, о котором он никому не сказал.

Следы он нашёл там же, где видел в первый раз, — и они рассказали ему больше, чем он хотел знать.

Серый ушёл на юго-запад — глубоко, за пределы того, что Варн мог проследить, — но по дороге, каждые несколько вёрст, зверь останавливался. Долго. Зрение показывало места остановок как тёмные пятна — лежалые, многослойные: зверь лежал здесь часами, и не один раз. И возле каждой остановки, чуть в стороне, Варн находил одно и то же: следы человека. Одного человека, который приходил к месту, где лежал зверь, стоял — не подходя, на расстоянии, — и уходил.

Кто-то наблюдал за Серым. После того как зверя ранили. Приходил и смотрел, как он залечивает раны.

Варн стоял над этими следами — чужими, спокойными, деловитыми — и чувствовал, как между лопаток ползёт холод. Человек, который приходит смотреть на раненого зверя-людоеда и не боится стоять на расстоянии, — это не охотник. Охотники добивают. Это кто-то другой. Кто-то, кому зверь интересен живым.

Он зарисовал следы — сапог, размер, направление, — свернул лист, спрятал и пошёл догонять почтовый воз. В гильдии он отнёс рисунок не на доску объявлений — он отнёс его писарю Гробу, тому самому, с лицом из красного дерева, который теперь сидел в рэйдрингском зале за другой стойкой.

Гроб посмотрел на рисунок дольше, чем смотрел на что-либо за весь день.

— Где это?

— У южного тракта, за Клэнтоном. Следы зверя — того, которого называют Серым, — и вот эти, человеческие. Они повторяются. Кто-то ходит за ним.

Гроб посмотрел на Варна — и впервые за все их встречи сказал что-то, что не было отпиской:

— Ты понимаешь, что принёс?

— Понимаю, что следы.

— Я спрошу иначе. — Гроб понизил голос. — Ты понимаешь, что если это то, на что это похоже, то твой рисунок стоит дороже, чем всё, что ты заработаешь за год? И что такие рисунки не кладут на стойку при всех? — Он убрал лист в ящик, запер его и посмотрел на Варна внимательно, по-новому. — Железка, который приносит такое в первый месяц. Ты либо очень удачливый, либо очень наблюдательный. И то и другое — редкость. Иди работай, Мечник. О тебе теперь знают.

Варн вышел из гильдии в сумерках и долго стоял на сту-

пенях, глядя, как зажигаются огни среднего кольца — сотни огней, тысячи, — и думал о том, что сказал Гроб. «О тебе теперь знают». Скоро эти слова обретут буквальный смысл. В тот самый вечер в задней комнате гильдии, куда пускали не всех, Гроб положил на стол перед человеком в охристой мантии два предмета: рисунок Варна и рапорт о железном ранге из Милдена, который «смотрит на людей так, будто читает».

И что Виктор, соединив их, как соединял всё, что сходилось, сказал тихо, самому себе:

— Вот и второй раз. Так не бывает.

А Варн шёл домой, на Кожевенную, через зажигающийся город, мимо трактиров, из которых пахло жареным мясом, мимо лавок, закрывающих ставни, мимо фонарщика, который зажигал масляные чашки одну за другой, и город вспыхивал огнями, как ёлка, о которой Варн не знал, что такие бывают, — и чувствовал себя одновременно счастливым и потерянным, сильным и маленьким, нашедшим своё место и не нашедшим ничего.

Дома, в комнате под крышей, он достал оловянную ложку, поел трактирной похлёбки — ею, маминой, — и ложка работала: он помнил, чей он. Потом достал пряник Ниссы, отломил маленький кусочек, съел и спрятал остальное — «когда страшно».

Страшно не было. Было странно. Было ново. Было — начало.

За окном, между трубами, полоска неба гасла, и где-то

там, за ней, за сотнями вёрст, стоял разрушенный город, и шла по нему женщина, которая ждала, когда он будет готов.

«Я приду, — подумал Варн в темноту, засыпая. — Только дай мне сначала научиться».

И комната под сердцем — тёмная, освещённая волком, терпеливая — приняла это обещание к сведению, как принимают к сведению срок.

Глава 14. Гильдия

У железных был свой час.

Варн открыл его для себя на третье утро в Рэйдринге, спустившись в главный зал гильдии до рассвета, — и понял, что город, который днём казался хаосом, ночью и ранним утром был часовой машиной, у которой всё вращается точно. В шесть колокол на Соколиной башне бил подъём — коротко, три раза, только для своих: город ещё спал, а гильдия уже нет. В шесть с четвертью открывалась кухня, и из её подвала поднимался запах овсяной каши на топлёном сале — запах, который железные узнавали с закрытыми глазами, потому что он был одинаковым каждый день, и в этой одинаковости было что-то надёжное, как рассвет. В семь открывалась стойка. В семь с половиной — доска: писарь Гроб лично, с гвоздодёром, снимал вчерашние листки и развешивал новые, и железные стояли полукругом и смотрели, кто что возьмёт, потому что по тому, что берут другие, узнавали о мире больше, чем из любых разговоров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.